

---

---

П. В. Анненков



*Пушкин  
в Александровскую эпоху*



---

МИНСК «ЛИМАРИУС» 1998

УДК 947.0:82.09+929 Пушкин  
ББК 63.3(2)  
А 68

Серия «Старый пушкинист» основана в 1997 г.

Председатель редакционного совета серии И. Е. Егоров  
Составитель серии А. И. Гарусов  
Оформление серии Г. И. Мацур

Тексты работ П. В. Анненкова печатаются по изданиям:

1. Анненков П. В. «А. С. Пушкин в Александровскую эпоху» — Спб., 1874.
2. Анненков П. В. «Общественные идеалы Пушкина» // Вестник Европы. — 1880, №6 — Стр. 595—637.
3. Анненков П. В. «К истории работ над Пушкиным» // П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка. — Спб., 1892 — Стр. 383—485.

**Анненков П. В.**

А 68 Пушкин в Александровскую эпоху / Сост. А. И. Гарусов.  
— Мн.: «Лимариус», 1998. — 360 с.

ISBN 985-6300-04-5

ББК 63.3(2)+84(2)

ISBN 985-6300-04-5

© «Лимариус», 1998.  
© И. В. Егоров, вступительная статья, 1998.  
© А. И. Гарусов, составление, 1998.  
© Г. И. Мацур, оформление, 1998.



# К истории работ над Пушкиным

I.

ПРОГРАММА И ПЛАН ИЗДАНИЯ  
СОЧИНЕНИЙ А.С. ПУШКИНА.

1.

Объявление об издании сочинений А.С. Пушкина под редакцией П.В. Анненкова, 1855 года.

Принимается подписка на новое собрание сочинений А.С. Пушкина в конторе «Современника» при книжном магазине И.В. Базунова, на Невском проспекте, у Казанского моста, в доме г-жи Энгельгардт.

Новое собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина будет вмещать все стихотворные произведения поэта и все статьи его в прозе, заключающиеся в последнем посмертном издании его творений, которое появилось в 1838 и кончилось в 1841 году (11 томов). Сверх сего, в новое издание войдут стихотворения, помещенные в старых журналах и не попавшие в предшествующее издание, и значительное количество произведений его в стихах и прозе, никогда еще не бывших в печати. Они найдены в бумагах поэта, и о важности их можно судить по беглому перечету одних цельных, довольно больших произведений, которые украшают настоящее издание. В нем будут помещены: неизданные строфы «Евгения Онегина», дополнительные строфы «Домика в Коломне», перевод в стихах 23-й песни «Неистового Орlando», критический разбор первой песни «Слова о

полку Игореве», продолжение повести «Рославлев» и проч. Первый том настоящего издания будет состоять из биографии поэта, составленной преимущественно по бумагам его и дополненной записками, нарочно приготовленными для сего издания покойным Львом Сергеевичем Пушкиным, П.А. Катениным, Н.И. Павлицевым и соучениками поэта, изложившими свои воспоминания в одной общей записке. Портрет Пушкина работы Уткина, три снимка с рисунков пером, какие по своей привычке делал поэт на рукописях в самую минуту создания, и несколько снимков с отроческого, юношеского и установившегося его почерка будут приложены тоже к первому тому.

В отношении внешней красоты нынешний издатель сочинений Пушкина П.В. Анненков смеет думать, что он сделал все возможное для соединения в новом издании изящества с дешевизной. Как в этом отношении, так и в других, он имел преимущественно в виду дать публике собрание сочинений Пушкина, хотя отчасти достойное его и хотя несколько соответствующее ожиданиям почитателей народного поэта нашего.

Условия подписки следующие: за все шесть или, может быть, семь томов нового полного собрания сочинений Пушкина цена назначается 12 р. сер., а с пересылкою 15 р. сер. Первые три тома выдаются подписчикам непременно в конце марта месяца 1855 года, если не ранее, о чем будет объявлено в свое время, остальные — непременно в течение лета.

В Москве подписка принимается на тех же самых условиях (15 р. сер. с пересылкою и 12 р. сер. без пересылки) в московской конторе «Современника», на углу большой Дмитровка, против университетской типографии, в доме Загряжского, при книжном магазине И.В. Базунова.

Что касается до гг. иногородних и вообще жителей не столиц, то да благоволят они обращаться со своими требованиями прямо к издателю Павлу Васильевичу Анненкову по адресу: в С.-Петербург, в главном штабе, в квартире № 1-й, вход с Большой Морской. Благовременная подписка избавит их от промедления в доставке издания, что неминуемо последует, если ждать появления первых трех томов в продаже. Вместе с тем, гг. иногородние и вообще жители не столиц благоволят, при высылке 15 руб. сер., четко выставлять в своих требованиях адреса, а также имена, отчества и фамилии, для отстранения всякого повода к недоразумению, могущему затруднить безостановочное исполнение их требований.

## 2.

## Объяснение к изданию «Сочинений Пушкина» 1855 года.

Порядок, принятый для распределения стихотворений и статей Александра Сергеевича Пушкина в настоящем полном собрании его сочинений, требует нескольких пояснительных слов с нашей стороны. Минуя произвольные и большею частью неудовлетворительные разделения стихотворений по родам, настоящее издание приняло в отношении их одну только систему хронологического порядка. Как способ указать постепенное развитие автора, границы и ход чужестранных влияний на него, а наконец, и видоизменения самостоятельной творческой его мысли, хронологический порядок заслуживал предпочтения пред другими. Со всем тем, по разнообразию поэтических форм, усвоенных Пушкиным, одинаковое зачисление всех его стихотворных произведений только под года происхождения их делалось невозможным. Небольшое лирическое стихотворение, прерванное поэмой или драмой, за которыми следовал бы быть ряд изящных мелких произведений его, точно таким же образом нарушенный, представили бы неудобство, равно чувствительное, как в типографском, так и в эстетическом отношениях. По этому соображению настоящее издание приведено было к необходимости, строго сохраняя везде основной хронологический порядок, принять еще три отдела для стихотворных произведений Пушкина, но при составлении этих отделов оно уже имело в виду одни внешние формы созданий и притом столь резко противоположные друг другу, что упрек в каком-либо смешении, кажется, мог быть отстранен с успехом. Отделы, принятые на этом основании, таковы: 1) отдел стихотворений лирических в обширном смысле; 2) отдел поэм, повестей, рассказов, народных эпоей и сказок, или эпический, и 3) отдел произведений драматической формы.

Первый отдел — стихотворений лирических — включает в себе все так называемые мелкие произведения Пушкина, начиная с 1814 года по 1836. «Лицейские стихотворения» образуют в этом отделе одно подразделение, которое обнимает время с 1814 по 1817 год, хотя уже в последнюю половину этого года автор не принадлежал более лицее, но сохранить историческую верность тут не было крайней необходимости. Известно, что даже большая часть произведений следующего 1818 года носит еще заметным образом характер, отличающий лицейские стихотворения. В «лицейское» подразделение, о котором говорим, и отчасти в 1818 год приняты настоящим изданием

21 пьеса автора нашего, напечатанные прежде в старых журналах и альманахах, но пропущенные посмертным изданием его сочинений 1838 — 1841 годов. К ним еще присоединено 7 пьес, совсем еще не бывших в печати, что все подробно объяснено в примечаниях издателя к самым стихотворениям. Примечания эти следуют у нас по окончании каждого года и относятся к каждому из произведений, в нем помещенному, указывая на особенности в языке и отчасти изъясняя историю происхождения пьес.

Второй отдел — поэм, повестей, рассказов и проч. — заключает в себе, в строгой хронологической последовательности, поэтические произведения автора, начиная с «Руслана и Людмилы» (1820 г.) до «Анджело» (1833 г.). Тут же помещен и роман «Евгений Онегин» (1825-1832 гг.). Примечания нашего издания следуют здесь тотчас за каждым отдельным произведением, а собственные заметки поэта, как при романе «Евгений Онегин», так и при других созданиях, отнесены уже в самый текст, в подстрочные выноски. В отношении простонародных сказок, принадлежащих, вместе с «Песнями западных славян», к тому же отделу, примечания издателя следуют уже тотчас за примечаниями автора, не смешиваясь с ними и только поясняя или дополняя их.

Третий отдел — произведений драматической формы — открывается «Борисом Годуновым» (1825 г.) и сообщает затем, в хронологической цепи, весь ряд небольших драм и сцен до «Русалки» (1832 г.). В этот отдел не зачислен только «Разговор книгопродавца с поэтом», но Пушкин сам подал пример печатания его в лирических сочинениях, и вероятно, по тому соображению, что «Разговор» не имеет сущности драматической сцены. Примечания настоящего издания следуют тому же порядку, как и в предшествующем отделе, а здесь сообщаем читателю причины, понудившие к составлению их и предметы, которыми они занимаются вообще.

Критическое обсуждение, какому подвергнуто было в журналах прежнее посмертное издание сочинений Пушкина, достаточно указало недосмотры и упущения его. Первою заботой нового издания должно было сделаться исправление текста издания предшествующего, но это, по важности задачи, не иначе могло произойти, как с представлением доказательств на право поправки или изменения. Отсюда вся система примечаний, допущенная в настоящее издание. Каждое из произведений поэта без исключения снабжено указанием, где впервые оно явилось, какие варианты получило в других редакциях при жизни поэта, и в каком отношении с текстом этих редакций

находится текст посмертного издания. Читатель имеет пред глазами своими, таким образом, по возможности историю внешних и отчасти внутренних изменений, полученных в разные эпохи каждым произведением, и по ней может исправить недосмотры посмертного издания, из коих наиболее яркие исправлены уже и издателем предлагаемого собрания сочинений Пушкина. Многие из стихотворений и статей поэта, особенно те, которые явились в печати уже после смерти его, сличены с рукописями, и по ним указаны числовые пометки автора, его первые мысли и намерения. Само распределение стихотворений в хронологическом порядке находит в примечаниях свое оправдание и подтвердительные данные, которые почерпнуты отчасти из оставшихся бумаг поэта, а отчасти из сборников, бывших при жизни его, где стихотворения его помещаемы были тоже в хронологическом порядке. Таковы: Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1826 г., 1 часть, стр. XII и 192; Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1829 г., 2 части, стр. 224 и 176, Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1832 г., 1 часть, стр. 208; Стихотворения Александра Пушкина. С.-Пб., в типографии департамента народного просвещения, 1835 г., 1 часть, стр. 189; Поэмы и повести Александра Пушкина. С.-Пб., в военной типографии, 1835 г., 2 части, стр. 232 и 221. Вместе с вариантами и филологическими заметками, примечания, в некоторых случаях, представляют и поводы, определившие выбор предмета у автора. Вполне убежденный, что в нынешнем своем виде примечания еще далеко не исчерпывают всей задачи, которую имели в виду, издатель смеет только думать, что опыт критического издания сочинений Пушкина, принятый им, не останется без некоторой пользы для изучения отечественного языка и для важных эстетических соображений.

Переходя к статьям в прозе, необходимо заметить, что одинаковое хронологическое распределение их было еще менее возможно, чем в произведениях формы стихотворной. По разнообразию, несоединимости и краткости некоторых статей оно произвело бы здесь смешение, которому вряд ли самая счастливая память и самое напряженное внимание могли бы пособить. Отделы, принятые настоящим изданием, основаны преимущественно на биографических соображениях. Таким образом, первый отдел заключает так называемые «записки» Пушкина. В нем помещены: а) родословная Пушкина и Ганнибаловых; б) остатки настоящих записок (автобиографии)

Пушкина, к числу которых относится и статья о Дельвиге; с) мысли и замечания; d) критические заметки; e) анекдоты, собранные Пушкиным; f) путешествие в Арзрум в 1829 году. К этому отделу следовало бы присоединить и статью «Кирджали», если б не останавливало нас название повести, данное ей самим автором.

Второй отдел заключает повести и романы Пушкина, с остатками повестей не оконченных, в хронологическом порядке. В этот отдел зачислены и «Сцены из рыцарских времен», не смотря на их драматическую форму, но уже известно, что они представляют собственно план создания, которому дан только внешний вид сценического изложения.

Третий отдел заключает журнальные статьи, напечатанные в разных повременных изданиях при жизни автора, и другие, найденные в бумагах уже после смерти его, образуя таким образом два подразделения. В первом (произведения, напечатанные в разных журналах при жизни автора) включено несколько статей, пропущенных посмертным изданием: а) из «Московского Телеграфа» 1825 года — две статьи, не попавшие в посмертное издание сочинений Пушкина; б) из «Литературной Газеты» 1830 года — четыре статьи, пропущенные посмертным изданием; в) из «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду» 1833 года — одна статья, пропущенная посмертным изданием; d) из «Современника» 1836 года (издания Пушкина) четыре статьи, тоже не попавшие в посмертное издание. Второе подразделение вмещает затем все статьи, отысканные в бумагах поэта после смерти его и напечатанные как в «Современнике» 1837 года (издания друзей покойного), так и в посмертном издании его сочинений 1838 — 1841 годов. Из ряда этих статей одна: «О драме», значительно искаженная изданием 1838 — 1841 годов, является совсем в новом виде.

Наконец, последний четвертый отдел заключает «Историю Пугачевского бунта», с приложениями, и одну статью, пропущенную посмертным изданием 1838 — 1841 годов, именно: «Возражения (Пушкина) на критику г. Броневского».

Примечания нашего нового издания в том смысле и направлении, как уже показано, сопровождают прежде всего самые отделы, объясняя подробнее цель их, а затем и все произведения, в них заключающиеся. Вместе с примечаниями к стихотворениям они обнимают, по возможности, всю деятельность автора, оставляя впрочем еще очень многое для последующих исследований.

Затем в рукописях Пушкина отыскано множество отрывков, как

стихотворных, так и прозаических, некоторое число небольших пьес и продолжения или дополнения его созданий. Все эти остатки, принадлежащие, по большей части, к позднему его развитию, собраны уже нами, как в «Материалах для биографии Александра Сергеевича Пушкина», так и в приложениях к ним. Читатель уже видел там еще никогда не бывшие в печати произведения, между которыми «Замечания на Песнь о полку Игореве» занимают столь важное место.

Объяснив таким образом порядок и систему, положенные в основании нового сборника, издатель нисколько не скрывает от себя, что найдется еще много упущений и недосмотров, как в примечаниях к произведениям нашего автора, так и в других отношениях. При трудности собирания у нас библиографических сведений, при кропотливой работе, какая нужна была для осуществления предположенного плана, недостатки почти неизбежны. Со всем тем издатель смеет питать надежду, что при системе, взятой для нового издания, всякая поправка сведущей и благонамеренной критики скорее может быть приложена к делу, чем прежде, и всякое новое сведение скорее найти себе приличное место. Арена для библиографической, филологической и эстетической критики открыта. Общим действием людей опытных и добросовестных ускорится время издания сочинений народного писателя нашего вполне удовлетворительным образом.

Одно последнее слово в отношении правописания. А.С. Пушкин имел свое особенное правописание, которое более или менее проявлялось в газетах, журналах и альманахах, куда он посылал свои произведения, а также и в изданиях сочинений, сделанных под собственным его наблюдением. Эти орфографические особенности собраны нами тоже в примечаниях, а вместе с ними и некоторые из тех, которые уже не принадлежат поэту нашему, а употреблены постороннею редакцией его сочинений. Как те, так, и другие, заслуживают внимания: это образцы грамматических колебаний нашего языка, которые следовало сохранить для будущего историка его развития.

1-го сентября 1853 года.

## 3.

Объяснение к VII-му тому «Сочинений Пушкина»  
1857 года.

Представляя публике новый том «Сочинений Пушкина» окончательно довершающий издание его «Сочинений», появившееся в 1855 году, считаем необходимым предупредить читателя, что этот седьмой и последний том содержит в себе несколько пьес нашего автора, еще не бывших в печати, несколько произведений, уже опубликованных прежде, и довольно значительное количество дополнительных к статьям и стихотворениям, вышедшим в свет при его жизни. Мы имели намерение собрать все, что ходит еще по рукам из записок, посланий, экспромтов поэта и может быть сообщено публике, но усилия наши не вполне увенчались успехом. Правда, мы приобрели убеждение, что количество и качество остающихся еще отрывков ни в каком случае не должно быть велико; но сознаемся, что читатель может еще встретиться и после нашего издания с посланием, экспромтом или стихотворною запиской поэта, тщательно сбереженными от известности. Скажем однако же здесь, что всякое издание классического писателя должно соответствовать времени своего выхода и потому неизбежно иметь своего рода ограничения и условия: задача издания состоит только в том, чтоб не быть ниже потребностей и возможностей современности. Предоставляя таким образом будущим издателям поэта все возможные дополнения, мы не хотим откладывать далее сообщение новых и довольно значительных приобретений наших. В полном убеждении, что успех попыток собрать весь текст Пушкина еще долго останется у нас более чем сомнителен, мы приступаем теперь же к изданию седьмого, дополнительного тома, разделив его на две части: а) часть стихотворную и б) часть прозаическую. Каждая из этих частей, по плану нашему, имеет еще свои подразделения. Так, часть стихотворная распадается на три отдела, которые здесь перечисляем: 1) большие отрывки в стихах, не вошедшие в состав последнего издания «Сочинений Пушкина» 1855 года; 2) выпущенные места из стихотворений и поэм; 3) небольшие отрывки, надписи, поэтические мысли, эпиграммы. Часть, содержащую в себе прозу Пушкина, мы делим также на три отдела: 1) статьи исторического и биографического содержания, 2) статьи полемического содержания и 3) чисто-литературные статьи. Всем произведениям обеих частей сообщен, по возможности, хронологический порядок, который укажет читателю настоящие места приводимых статей

и стихотворений в издании «Сочинений Пушкина» 1855 года, где тот же самый порядок был строго наблюдаем. В конце книги приложены подробные алфавитные указатели ко всем стихотворениям и статьям Пушкина, заключающимся в семи томах нашего издания, а также и указатель к «Материалам для биографии» поэта, которые помещены в 1-м томе того же издания.

## II.

### ЛЮБОПЫТНАЯ ТЯЖБА.

Короткий промежуток времени между 1848 годом и 1854 — годиною сильного разгара Крымской компании, памятен русской литературе по многочисленным тяжбам и процессам, какие она вела с цензурною практикой той эпохи. Почти всегда проигрывая их и выходя из всякого дела еще в худшем положении, чем была, она все-таки не унималась, что объясняется постоянным приливом новых сил к арене ее деятельности, возникновением в среде общества духовных стремлений и нравственных вопросов, чувствовавших нужду заявить о своем существовании. Большая часть подобных тяжб и препирательств происходила по сомнениям о пригодности или непригодности подсудной статьи в данную, текущую минуту, но были из них и такие, которые обнаруживали направление внутренней политики на почве цензурных распоряжений и затрагивали вопросы русской культуры вообще. Можно пожалеть, что тяжбы последнего рода не были доселе рассказаны теми, кто их возбуждал в качестве истцов. К числу подобных характерных тяжб следует отнести ту, которая возникла по поводу издания «Сочинений Пушкина» 1855 года. Один из документов завязавшегося тогда процесса вокруг издания приводится здесь, как любопытный по выводам, которые он дает относительно духа и образа действий низших агентов тогдашней литературной полиции.

Документ этот состоит просто в выдержках из официальной «записки», которую издатель «Сочинений Пушкина» 1855 года получил дозволение, в виде исключения из общих правил цензурной практики, подать в главное правление цензуры. Задача и цели «записки» должны были заключаться в объяснении тех мест из старых и новых, еще не изданных произведений Пушкина, которые возбуди-

ли сомнения цензора (А.И. Фрейганга), их просматривавшего, и приговорены были им к исключению. Дозволению этому, как редкому примеру снисходительности в летописях цензурного ведомства, предшествовал еще, как было слышно, предварительный обмен мыслей в самой администрации надзора над печатью. Попечитель Петербургского учебного округа М.Н. Мусин-Пушкин, одобрявший и утвердивший все поправки своего цензора, выражал, по слухам, мнение, что такая поблажка издателю могла бы послужить дурным примером для авторов вообще, постоянно заявляющих нестерпимую претензию знать причины цензурных распоряжений, до них не касающихся. Министр народного просвещения А.С. Норов, получивший литературное образование, склонялся на сторону представления объяснений, а также и другой член комитета, начальник штаба корпуса жандармов, генерал Л.В. Дубельт, который не находил опасности для действующих по печати законов в допущении «записки», ни для кого не обязательной при решении спорных пунктов. Их мнение и одержало верх.

Понятно, какую осторожностью и сдержанностью должна была отличаться записка, если хотела спасти, хотя бы отчасти, пушкинский текст в этой последней и безапелляционной инстанции для исков литературного характера. Дело казалось с первого взгляда необычайно легким. Ни одно место из статей Пушкина, ни один стих из его песен и отрывков, заподозренных цензором и присужденных им к устранению, не заключали в себе и тени злонамеренности, неприличия, какого-либо намека или соблазна, как в том могут убедиться сами читатели по «выдержкам», где все эти места собраны. Но простой, настоящий их смысл был затемнен в глазах цензора, который, между прочим, пользовался репутацией тонкого эксперта по части отгадки тайных авторских намерений благодаря только его привычке встречать всякую незаурядную мысль и сильное чувство вопросом об их происхождении и по своему усмотрению определять, благонадежно ли оно и имеет ли прямые доказательства своей законности. Обличению этой постоянной заботы г. цензора, увлекавшей его далеко в сторону от разбираемого текста, и указанию, до каких невероятных решений она довела его, посвящена исключительно и вся «записка» издателя.

Но поучительная сторона приводимых «выдержек» из «записки» все-таки заключается не в этом обличении, а в тоне, в приемах речи и в доводах, какие понадобились издателю для того, чтобы заставить себя выслушать и иметь право рассчитывать на некоторый

успех. Исполняя свою специальную задачу — объяснение мыслей, слов и выражений поэта, трактат держится на таком уровне понятий, прибегает к помощи такого рода соображений, что рисует степень развития и умственное настроение людей, для которых он назначался, а также и положение печати за двадцать пять лет назад. Приходилось держаться исключительно того способа понимать предметы, который один мог доставить доводам «записки» силу убеждения и внушить к ним доверенность. Составитель ее ищет аргументов для защиты своих положений и требований не во внутренней правде, которая в них заключалась или могла заключаться, а в той счастливой случайности, что они не противоречат ни одной из господствующих идей в обществе. Вся «записка», таким образом, получила характер и оттенок адвокатской речи, произнесенной в защиту беспомощного клиента, нуждающегося в снисхождении своих судей, и странное впечатление производит теперь вся ее аргументация, когда вспомнишь, что клиентом тут был не кто иной, как Пушкин.

Для полного понимания состава и ценности той ставки, около которой шла эта цензурная игра, должно сказать следующее. При самом возникновении мысли об издании сочинений поэта воспоследовало, как всем тогда было известно, высочайшее повеление, представлявшее покойной Наталье Николаевне Ланской, матери и попечительнице детей Пушкина, право на повторение в новом, предполагавшемся издании всех произведений поэта без исключения, напечатанных в посмертном издании 1838 — 1841 годов, которое тоже обязано было своим осуществлением единственно прямому вмешательству и указанию верховной власти. Таким образом главный материал всего предприятия был наготове, и притом уже изъятый от всякого рода браковки. Без охранной грамоты, данной ему вновь помянутым распоряжением, которое сдерживало в границах приличия и разума ревность литературной полиции, не известно, что стало бы с доброю частью литературного состояния поэта, уже столько лет находившегося в обладании читающей публики. По крайней мере из прилагаемого документа оказывается, что цензор заносил руку и на стихотворения, давно обошедшие в старом издании весь русский мир, и между прочим, на патриотическую песнь «Герой», доказывая тем еще раз, что охрана государственных начал, устроенная на бюрократическую ногу, часто теряет из виду в погоне за призраками, ею созданными, ту самую цель, ради которой она и существует.

Понятно, что стихотворения Пушкина, рассеянные по старым нашим журналам, начиная с 1814 года, и не попавшие в посмертное

издание 1838 года, а также статьи, отрывки и все сокровища его музыки, почерпнутые в его рукописях, уже не пользовались благодеянием охранного листа и остались без защиты. О них именно и шло все дело.

В том же положении находились еще и «Материалы для биографии Пушкина», и примечания к его произведениям, собранные самим издателем; но тут уже составитель их знал, при какой обстановке и в каких условиях он работает, и мог принимать меры для ограждения себя от непосредственного влияния враждебных сил. Оно так и было. Не трудно указать теперь на многие места его биографического и библиографического труда, где видимо отражается страх за будущность своих исследований, и где бросаются в глаза усилия предупредить и отвратить толкования и заключения подозрительности и напуганного воображения от его выводов и сообщений.

Можно сказать, и уже было говорено, что дополнение издания вновь открытыми или позабытыми произведениями Пушкина не имело той важности, какую ему придавали в то время. Остатки пушкинского творчества, рано или поздно, все-таки увидали бы свет. Ведь не могли же они пропасть бесследно: появление их составляло только вопрос времени, которое и постаралось бы разрешить эту задачу и, конечно, с большим успехом, большею полнотой и в больших размерах, чем как то оказалось возможным для нетерпеливых собирателей. Достоверно по крайней мере, что, предоставив работу будущим и более свободным эпохам, не встретилось бы печальной необходимости жертвовать стихами, строфами, периодами пушкинского текста для сбережения остального клочка его раздробленной мысли, как это случилось и должно было случиться со многими отрывками и цельными его произведениями при несвоевременном их опубликовании. Торопиться и хлопотать о немедленном их обнаружении было поэтому незачем.

Позволительно усомниться в основательности этих замечаний. Подчинять все многообразные побуждения к деятельности в жизни спокойному, дельному и бесстрастному умствованию о несостоятельности, их ожидающей несомненно при известных данных в обществе, вряд ли значило оказывать услугу этому обществу. В настоящем случае даже и не видно, каким образом издатель мог бы, опираясь на трезвое понимание эпохи, устраниваться от исполнения своей прямой обязанности издателя. Он должен был питать желание ознакомить публику, хотя отчасти, с объемом неожиданно доставшего

ся ей художнического наследства; он не имел права освободиться от побуждения представить публике сборник произведений поэта на столько полный, на сколько позволяла настоящая минута, и ввести в него все то, что могло весьма мирно ужиться с социальным положением тогдашнего общества. Если даже и при этом он встретил еще препоны на своем пути, он обязан был одолеть их, хотя бы для устранения противников приходилось употреблять оружие, у них же отобранное или позаимствованное. Точно такими же соображениями руководилась и вся тогдашняя печать наша, когда, не зная устали и не обращая внимания на поражения, она беспрестанно предъявляла новые иски к цензуре и вела их теми же способами и приемами, какие употребил и составитель «записки», хотя масштабы тяжб были тут иные. О верности этого замечания могут свидетельствовать оставшиеся еще в живых деятели той эпохи. Вообще следует сказать, что сильно ошибаются те из наших современников, которые представляют себе положение русской литературы в описываемый промежуток времени исключительно и безусловно страдательным и отличавшимся будто бы одною примерною инерцией и выносливостью. Писатели, издатели, труженики всех родов, напротив, много и деятельно работали тогда и притом двойным трудом — по своим специальным задачам, во-первых, и, во-вторых, в борьбе с обстоятельствами, которые застигли им свет и заслоняли дорогу, что становилось как бы необходимым дополнением избранной профессии. Глухая война, безнравственная во многих своих подробностях, царствовала по всему пространству интеллигентного мира публицистов, литераторов, ученых, и она-то именно и спасла все зародыши развития мысли, какие существовали в обществе. Если нравственные и умственные силы общества оказались на лицо и даже в значительном обилии тотчас же, как сняты были первые путы, мешавшие их движению, то этот несомненный факт нашей жизни, удививший многих, а некоторых и неприятно, подготовлен был всецело предшествовавшим периодом литературы. Главнейшие ее деятели ни на минуту не сомневались за всю эту эпоху в неизбежном появлении дня свободного труда, которого и дождались.

Переходим к документу нашему, снабжая его отметками касательно участи, которая постигла каждое из осужденных мест пушкинского творчества в окончательной их проверке.

**Выдержки из объяснительной записки, поданной издателем «Сочинений Пушкина», 1855 — 1857 годов, главному правлению цензуры в 1854 году.**

1.

Места из не изданных пушкинских произведений, вошедшие в состав «Материалов для биографии» поэта и предложенные к исключению г. цензором.

I.

*К исключению.*

«На об. страницы 69 (по рукописи) не попавшие в печать — по выражению издателя — отдельные стихи из предисловия к поэме «Кавказский Пленник»:

- а) Когда я погибал, безвинный,  
    безотрадный,  
    И шепот клеветы внимал со  
    всех сторон,  
Когда кинжал измены хладной,  
Когда любви тяжелый сон  
Меня терзали и мертвили,  
Я близ тебя...
- б) Я рано скорбь узнал, постигнут  
    был гоненьем,  
Я жертва клеветы и мстительных  
    невежд,  
Но, сердце укрепив надеждой и  
терпеньем...
- в) Когда роскошных дев веселья  
Младыми розами венчал  
И жар безумного похмелья  
Минутной страсти посвящал...

*Объяснения издателя.*

Места эти из предисловия к «Кавказскому Пленнику» совершенно в том же духе написаны, как и настоящее предисловие к нему, которое всегда прилагалось при поэме (и ныне будет приложено). Они не содержат никакого намека на людей, ибо принадлежат к байроническому направлению, которое в то время (1822) было в моде. В биографии издатель еще представляет эти места как образец неудачного желания произвести поэтическое лицо на ложных основаниях и приводит слова Пушкина, который в том сознавался сам, от чего отрывки имеют важное значение для биографии, во-первых, как поучение будущим писателям, а во-вторых, как подробность для картины развития поэтического таланта в самом авторе.

(Отрывки получили дозволение явиться к печати).

## II.

*К исключению.*

а) «На стр. 95 и об. (по рукописи) мнение о Шуйском и сравнение французского короля Генриха IV с Дмитрием Самозванцем:

«Я также намерен возвратиться к Шуйскому. Он представляет в истории странное смешение дерзости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова, он один из первых переходит на сторону Димитрия, первый начинает заговор, и заметьте — он же первый и старается воспользоваться сумятицей, кричит, обвиняет, из начальника делается сорванцом. Он уже близок к казни, но Димитрий с тем великодушием ветренности, которая отличала этого пройдоху, дает ему помилование — изгоняет его и снова возвращает ко двору своему, осыпая честью и щедротами. И что же делает уже стоявший раз под топором? Тотчас же принимается за новый заговор, успевает, захватывает престол, падает и в падении своем уже показывает более воинства и душевной силы, чем в продолжение всей своей жизни.

Димитрий сильно напоминает Генриха IV. Он храбр и хвастлив, как тот. Оба переменяют религию для политических видов, оба любят войну, удовольствия, оба склонны к необыкновенным предприятиям и оба служат целью многочисленных заговоров. Но Генрих не имел Ксении на совести; правда, что это ужасное обвинение еще не доказано, и я считаю своей обязанностью ему не верить.

«Грибоедов не доволен был Иовом».

*Объяснения издателя.*

Эти места из писем Пушкина на французском языке о своей трагедии «Борис Годунов» (и из перевода их на русский язык издателем) заключают суждения поэта об исторической трагедии вообще. В правилах о цензуре (статья 10-я) выражено: ... «*Всякое общее описание или сведение касательно истории, географии и статистики России дозволяется цензурою, если только изложено с приличием и без нарушения общих цензурных правил.*» Письма Пушкина не противоречат предписанию закона, и потеря их была бы значительным пробелом в истории трагедии «Борис Годунов». Уже известно глубокое уважение Пушкина к Карамзину. В описании Шуйского он следует во всем указаниям историка, справедливо назвавшего гонителя фамилии Романовых хитрым царедворцем, захватившим престол, который не ему следовало занять. В характеристике Димитрия Самозванца Пушкин дозволяет себе сделать сравнение с королем Генрихом IV, но только в одном отношении легкости, хвастливости и войнолюбивости. Что касается до Марины Мнишек, то коварное честолюбие ее очерчено ярко Пушкиным, и кажется, нет причины щадить эту женщину, образец западной и польской цивилизации, произшедшей подобное существо. Все остальное — беглые исторические очерки, а потом рассуждение о законах трагедии, которые Пушкин полагал только в истине характеров, все прочее считая второстепенным, вот по-

b) На стр. 282 — 284 (по рукописи) во французском письме Пушкина о Борисе Годунове, кроме текста, соответствующего вышеприведенному отрывку, подчеркнуто следующее место:

«Ma tragédie... est remplie de bonnes plaisanteries et d'allusions fines à l'histoire de ce temps-là... Quant aux grosses indécentes — n'y faites pas attention»

с) Также точно указано к исключению и место о Марине Мнишек и о предке поэта. О первой:

«Après avoir goûté de la royauté — voyez-la, ivre d'une chimère, se prostituer d'aventurier en aventurier, partager tantôt le lit dégoutant d'un juif, tantôt la tente d'un cosaque, toujours prête à se livrer à quiconque qui peut lui présenter la faible espérance d'un trône qui n'existait plus».

О предке Пушкина:

«Гаврило Пушкин est un de mes ancêtres; je l'ai peint tel que je l'ai trouvé dans l'histoire et dans les papiers de ma famille. Il a eu de grands talents. Homme de guerre, homme de cour — c'est lui et Плещеев qui ont assuré le succès de Самозванец par une audace inouïe».

(Издателю сочинений Пушкина не удалось однако ж пожертвованием двух эпитетов в определении личности Димитрия провести заметку о нем поэта вполне. Из печатного текста писем мы видим, что место, где находилось сравнение Димитрия с Генрихом IV, и где упоминалось имя Ксении, все-таки исключено из издания. В замен, объяснения издателя помогли пройти в печать бойким характеристикам личностей Шуйского, Марины Мнишек, Гаврилы Пушкина. Вместе с ними дозволены к обнародованию и все отрывочные фразы писем, начиная с заметки Грибоедова об Иове и кончая теми, которые видимо испугали цензора только словами, в них заключавшимися: *plaisanteries, indécentes, scandale*. Впрочем мы знаем по чер-

чему и сказал в виду классиков и романтиков, воевавших тогда между собою на бумаге: «Si je me mêlai de faire une préface (к «Борису Годунову»), je ferais du scandale»<sup>1</sup>, что переведено у издателя: «Если бы я вздумал написать предисловие (к «Борису Годунову»), не обошлось бы без шума». Во всех этих письмах могут подлежать исключению разве два слова для ослабления мысли, в сущности безвредной, именно при описании Димитрия в период: «Димитрий с тем великодушием ветренности, которая отличала этого любезного пройдоху...» Можно было бы выбросить слова: «любезного» и «великодушием».

<sup>1</sup> Фраза, тоже предложенная к исключению г. цензором.

новым оригиналам этих самих писем, с которыми публика ознакомилась недавно на Пушкинской выставке, что несколько фраз и незначительных заметок исключено было из них самим издателем, и по весьма понятным причинам. Как бы подействовала, например, на подозрительного судью добавочная фраза Пушкина к замечанию, что надо понимать намеки его трагедии, подобному тому, как это было необходимо для «наших домашних безделушек Киева и Каменки» (*comme dans nos sous-oeuvres de Kiow et de Kamenka*), или место, следовавшее за фразой: «Грибоедов не доволен был Иовом: И — справедливо. Патриарх был очень умным человеком, а я, по рассеянности, сделал из него простака («*Le patriarche, il est vrai, était un homme de beaucoup d'esprit, j'en ai fait un sot par distraction*»). В то подозрительное и суровое время для печати они могли бы повлечь запрещение писем Пушкина о «Борисе Годунове» целиком, как произведений сомнительного духа и настроения. А письма эти, конечно, стоили сохранения: это драгоценный пример того, как история и ее главные лица отражаются в уме гениального художника.

### III.

#### *Приговоры г. цензора*

На стр. 104 (по рукописи), к исключению Пушкинского размышления:

«Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики, и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени. Это первое признание ведет к другому, более важному: так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже), и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суеверно порабощать литературную совесть?»

#### *Объяснения издателя*

Исключение этого места может быть только объяснено словами секты и обряды, употребленными тут незначай, ибо само место относится к спору о классицизме и романтизме, в котором принял участие и Пушкин, помещено именно при описании этого спора и никакого отношения ни к чему другому не имеет. Об угождении вкусу публики упоминает Пушкин пространно, что публика наклонна к классицизму, и что нет никакого стыда для писателя подчиняться этому требованию. Другого смысла никакого тут и быть не может: так ясно, определенно все высказано. Если действительно слова: секты, обряды не терпимы в отрывке, то слово секты может быть заменено словами «партии» или «школы», а слово обряды словом «уставы» или «правила».

(Отрывок Пушкина был одобрен к печатанию без изменений, как знаем из печатного текста. Ирония предложения заменить одни невинные слова другими, столь же невинными, была почувствована и комитетом... Но какие мысли ходили в голове цензора, когда он указывал на это место, как на предосудительное?)

IV.

*К исключению.*

На стр. 112 и об. (по рукописи) резкое мнение Пушкина о Державине в письме к Дельвигу:

«По твоём отъезде перечел я Державина всего, — и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения: вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдерживать и строфы (исключая чего — знаешь). Что же в нём? Мысли, картины и движения истинно поэтические. Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника... Державин, со временем переведенный, изучит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нём. У Державина должно будет сохранить од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением С\*. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом. Довольно о Державине».

*Объяснения издателя.*

Это мнение Пушкина о Державине принадлежит к 1825 году. Но здесь издатель просит обратить внимание на одно обстоятельство. Он поместил именно этот отрывок для того, чтоб показать как с течением времени и с накоплением опытности, идей и развития мыслящей способности Пушкин изменял постепенно свои суждения об авторах к лучшему. Все это пространно изложено вслед за отрывком. Таким образом отрывок делается в биографии поучительным примером, как истинно замечательный писатель поправляет собственные свои суждения и предостерегает других от ранних увлечений, кончающихся неизбежно раскаянием. В этом его моральное значение... С этой точки издатель просит и судит его выбор из рукописей, а не отдельно, без связи с главной мыслью и главной задачей его биографии. Совсем другое дело, если бы приведенный отрывок сопровождался у него кичением, желанием ослабить уважение к признанным заслугам или даже равнодушием к прежнему славным писателям; все это на обороте в биографии, что может быть подтверждено как свидетельством самого г. цензора, так и начальства, разбиравшего его труд.



«Я слышу вновь друзей предатель-  
ский привет

На играх Вакха и Киприды,  
И сердцу вновь наносит хладный  
свет

Неотразимые обиды.

И нет отрады мне — и тихо предо  
мною

Встают два призрака молодые,  
Две тени милые, два данные  
судьбой

Мне ангела во дни былые.

Но оба с крыльями и с пламенным  
мечом

И стерегут — и мстят мне оба,  
И оба говорят мне мертвым  
языком

О тайнах вечности и гроба».

19 мая 1828.

ства), легко получая цензурное одобрение, так как изложение душевных ощущений составляет сущность произведений лирического рода, без чего он обойтись уже не может. Следует заметить высокое нравственное значение Пушкинского стихотворения, в котором он сам оценивает преходящую свою жизнь по справедливости и видит ее недостатки — залог будущего исправления. Стихотворение также важно для отечественной словесности, как и для узнания души поэта. В этом же роде составлена известная, знаменитая (высочайше уже дозволенная) пьеса его: «Когда для смертного умолкнет шумный день». Предлагаемое стихотворение служит только продолжением его. Издатель почти уверен, что оно, по неимению ясно противоцензурных условий, будет допущено в каком-нибудь журнале и тем лишит биографию дорогого приобретения, а его самого — справедливой чести первого открытия.

(Два подчеркнутых стиха в тексте стихотворения, возбуждавшие сомнение у г. цензора, могли повлечь, по тогдашней цензурной практике, запрещение всей пьесы, чего, к счастью, не случилось) и отрывок прошел благополучно с сохранением и заподозренных стихов).

## VI.

### *К исключению.*

На стр. 84 (по рукописи), отрывки о бессмертии души (написанные Пушкиным, как произведение Ленского, одного из действующих лиц его романа «Евгений Онегин»:

*«Надеждой сладостной младенчес-  
ки дыша,  
Когда бы верил я, что некогда  
душа,*

### *Объяснения издателя.*

Стихи эти представлены Пушкиным как образец тяжелых, нелепых Оссиановских стихов, какими занимался Ленский, действующее лицо в «Онегине». Они написаны с целью пародировать и предать насмешке подобные философствования, а не с целью выставить их на показ, что и сам он, объясняет далее. Для ослаб-

Могилу пережив, уносит мысли  
вечны,  
И память, и любовь в пучины  
бесконечны, —  
Клянусь! Давно бы я покинул  
грустный мир,  
Узрел бы я предел восторгов,  
наслаждений,  
Предел, где смерти нет, где нет  
предрассуждений,  
Где мысль одна живет в небесной  
чистоте;  
*Но тщетно предаюся пленитель-  
ной мечте».*

ления всякой, самой легкой двусмысленности в них следует, может быть, выпустить первый стих и всю пьесу начать со второго.

(В «Материалах для биографии Пушкина», 1855 года эта пьеса, дозволенная к печатанию без выпусков, сопровождается тоже примечанием («Сочинения Пушкина» 1855 года, т. 1, стр. 328), повторяющим сполна доводы «объяснения», чему один пример мы видели уже и прежде. Предложение издателя выпустить первый стих, оказавшееся не нужным, видимо сделано было для того, чтобы сохранить отрывку какой-либо смысл, потому что с устранением трех стихов (они подчеркнуты в оригинале), как предлагал г. цензор, весь отрывок превращался в чистейшую бессмыслицу. В этом случае, как и в других, ему подобных, происходило нечто сходное с выбрасыванием за борт части багажа для спасения корабля, одолеваемого бурей. Сравнение рисует также и положение литературы того времени).

## VII.

*К исключению.*

На стр 136 (по рукописи), отрывок из письма Пушкина о программе газеты, которую дозволено ему было издавать (в 1832 году):

«Он (Пушкин) получил дозволение на издание газеты, но почти на другой же день писал с досадой: «Какую программу хотите вы видеть? Известия о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот вам и вся

*Объяснения издателя.*

Смысл этого места не может, кажется, подлежать сомнению, если принять в соображение рассказ биографии. В 1832 году Пушкин получил дозволение на издание газеты, но, по непривычке к делу и своей неспособности быть редактором ежедневной газеты, дозволением не воспользовался. Друзья его ожидали между тем от газеты чего-то нового,

программа. Я хотел уничтожить монополию... Остальное мало меня интересует», и проч.

необыкновенного, и тогда, для охлаждения их расспросов, Пушкин с тою трезвостью ума, которая его оставляла только в несчастные минуты страсти, написал вышеприведенные укоризненные строки.

(Отрывок получил дозволение явиться в печати, но остается загадкой, как мог явиться вопрос о его непригодности к тому?)

## VIII.

### *К исключению.*

На стр. 268, 271, 274, некоторые выражения в сказках Арины Родионовны.

«Царь женился на меньшей, и с первой ночи она понесла».

«Один из сыновей уродился чудом, ноги серебряные, руки золотые и проч.»

«Царь пьет из проруби; кто-то его хватя за бороду и не выпускает... Царь взмолился... Задумался бедный царь».

«Царь, другой, подземного царства) повелевает Ивану Царевичу построить церковь в одну ночь. Царевна, обратясь в мужа, является к нему: «Не печалься, Иван Царевич, скинь портки, повесь на шесток да спи, а завтра возьми молоточек, ходи около церкви»... Царевич думал, думал и наконец сказал: «А ну же его! повесить так повесить, голова мне не дорога»... По утру церковь готова».

«Марья Царевна превращает Ивана Царевича в церковь, а себя в священника... церковь ветха, священник стар».

### *Объяснения издателя.*

Все эти места принадлежат к сказкам няни Пушкина Арины Родионовны, со слов которой он их записал, и которые послужили для составления стихотворных сказок, как самому Пушкину, так и В. А. Жуковскому. Все эти выражения, как: с первой ночи понесла, уродился чудом, хватя за бороду (первая фраза воспроизведена целиком в высочайше дозволенной уже сказке Пушкина: «Царь Салтан», а вторая буквально повторена в сказе В. А. Жуковского: «Царь Берендей»), кажется, имеют характер простодушия, отстраняющий всякую мысль о соблазне, и вряд ли могут ввести в искушение даже очень простого человека. Фразу: «скинь портки» издатель, сам исключавший подобные выражения, просмотрел в течении своей работы.

(Обороты и образы народного языка, так развязно вырванные г. цензором из безыскусственной речи Арины Родионовны, благополучно миновали проверку и явились вполне в приложении к «Мате-

риалам для биографии Пушкина», 1855 года (см. т. I, стр. 438), за исключением фразы: «скинь портки, повесть на шесток», уступленной и самим издателем, так как не подлежало уже сомнению, что она обречена будет во всяком случае на изгнание из печатного текста).

IX.

*К исключению.*

Следующие подчеркнутые стихи в различных отрывках и цельных пьесах Пушкина:

а.

«Не женщины любви нас учат,  
А первый *пакостный* роман».

б.

«Мой не дочитанный рассказ  
В передней кончит век позорный,  
Как «*Инвалид*», иль «*Календарь*».

с.

«В пещере тайной, в *день гоненья*,  
Читал я *сладостный* коран —  
Внезапно ангел утешенья,  
Влетев, принес мне талисман».

д.

«На место праздных урн и мелких  
пирамид,  
Безносых гениев, растрепанных  
харит,  
Стоит широкий дуб над важными  
гробами,  
Колелясь и шума»...

*Объяснения издателя.*

Истинный смысл подчеркнутых стихов в разных отрывках, здесь прилагаемых, не имеет какого-либо двойного или соблазнительного значения, — иначе он, издатель, первый не допустил бы этих отрывков в свою биографию, как он уже сделал со многими другими ему представлявшимися.

а.

Автор говорит здесь о вреде раннего чтения романов и употребляет резкое прилагательное «пакостный» (впрочем, весьма верное в отношении французских романов).

б.

Автор говорит об Инвалиде и Календаре не как об изданиях академии и проч., а как о старых газетах и указателях, не нужных по окончании известного срока.

с.

Автор здесь набрасывает первый очерк известного стихотворения «Талисман» и заставляет говорить мусульманина, не имея нисколько намерения показать сладость корана и ангелов Магомета, что было бы совершенною нелепостью.

д.

Автор здесь говорит о неприличии языческих памятников над гробницами, и еще надо прибавить, что все стихотворение, откуда взят отрывок, проникнуто у него глубоким христианским чувством.

е.

Выражение об александрийском стихе: «Растрепан он свободною цензурой». (Из «Домика в Коломне»).

е.

Автор говорит об александрийском стихе, вспоминая Буало, — и хваля его, прибавляет, что его стих растрепан, то есть, испорчен свободною цензурой во Франции и усилениями гг. Гюго и др.

(Полученное дозволение на сохранение всех этих отрывков тем особенно важно, что оно сберегло от искажения, при печатании, другое драгоценное открытие в рукописях Пушкина, именно великолепную его думу: «Когда за городом, задумчив, я брожу», что было бы не возможно, если бы указание цензора под литерой *д* было принято во внимание).

## 2.

Места из стихотворений Пушкина, уже напечатанных в старых альманахах и журналах, предложенные г. цензором к исключению, с объяснениями издателя.

### 1.

#### *Предварительное объяснение.*

Издатель принимает смелость сказать несколько слов о причинах, побудивших его к собранию старых произведений Пушкина для составления возможно полного издания его, которое могло бы служить образцом для последующих. При нынешнем развитии отечественной библиографии, когда усилия многих людей посвящены исключительно на собиране остатков русской старины и всего, что произведено в отечестве по части литературы ученой и словесной, всякое издание без характера библиографического уже не возможно. При таком направлении, свидетельствующем о возрождающихся любви и уважении ко всему своему, строгое исключение старых произведений за некоторую еще юношескую их горячность и даже за некоторое увлечение (если оно только не переступает настоящих границ приличия) лишает издание настоящего достоинства его, полноты, системы и выводов для науки изящного. Самое горькое при этом для самого издателя «Сочинений Пушкина», употребившего на них труд добросовестный, состоит в том, что произведения, им собранные, могут явиться в журналах и сборниках беспрекословно (по неимению явных противоцензурных условий), а ему воспрещены. Он понесет не заслуженный упрек от публики и от критики в нерадении и неосмотрительности, на которые уже не будет иметь права и отвечать, по закону. Не один он занимается теперь, благодаря Бога, отечественным просвещением и собиранием всех его памятников, без вы-



(Для понимания странной цели предварительного объяснения, которое отстаивало всеми возможными соображениями ту истину, что для полного собрания сочинений необходимо включить в него и произведения автора, найденные в старых журналах, — надо вспомнить еще раз, что позволение на новое издание Пушкина дано было с условием держаться безусловно текста прежнего посмертного издания 1838 года. Так как последнее не заключало себе пьес автора, погребенных в старых журналах и альманахах, то для напечатания таких пьес требовалось уже новое ходатайство и новое дополнительное согласие. Отсюда и горячий, настойчивый тон издателя, убеждающего судей в том, что, по видимому, не требовало никаких доказательств. Само решение их разбирать старую пьесу Пушкина уже было выигрышем, свидетельствуя о тайном сочувствии к плану издателя, чего он и добивался. Пьеса «К другу-стихотворцу» прошла невозбранно, удержав за собою и слово батюшка, но слово «отшельник», вместо священник, так и осталось за штатом. Впрочем, эта замена никого не обманывала. Как она, так и точки в стихе: «Как... вас учу, так» и пр. легко восстанавливались и тогда: священник, «как в церкви вас учу». Притом же издатель напечатал подставное слово: «отшельник» курсивом в тексте и еще упомянул о нем в примечании к стихотворению. «Вестник Европы» 1880 года (сентябрь), перепечатав пьесу без изменений и пропусков из «Вестника Европы» 1814 года, косвенно намекнул тем на любопытный факт, что литературный язык 1814 года был свободнее того же языка в 1856 и называл вещи и предметы настоящими их именами, что уже возбранялось позднее.

II.

*К исключению.*

На обороте стр. 7 (по рукописи), окончание стихотворения: «Блаженство»:

Счастлив юноша в мечтах!  
 Выпив чашу золотую,  
 Наливает он другую;  
 Пьет уж третью; но в глазах  
 Вид окрестный потемнился,  
 И несчастный утомился.  
 Томну голову склоня,  
 «Научи, сатир, меня»,  
 Говорит пастух со вздохом,

*Объяснения издателя.*

Это стихотворение тоже принадлежит к самым первым произведениям Пушкина и напечатано в «Вестнике Европы» 1814 года. Оно гораздо приличнее многих так называемых лицейских стихотворений, вошедших в состав посмертного издания высочайше дозволенных и ныне к перепечатанию. Все первые опыты Пушкина имеют теперь значение чисто историческое и потому, кажется, совершенно безвредны. Они

«Как могу бороться с роком?  
 Как могу счастливым быть?  
 Я не в силах больше пить».  
 «Слушай, юноша любезный,  
 Вот тебе совет полезный:  
 Миг блаженства век лови!  
 Помни дружбы наставленья:  
 Без вина здесь нет веселья,  
 Нет и счастья без любви;  
 Так поди ж теперь с похмелья  
 С Купидоном помирись,  
 Позабудь его обиды  
 И в объятиях Дориды  
 Снова счастьем насладись».

важны только тем, что показывают, как от французских подражаний Парни, Грекуру, Шолье и проч. перешел он к серьезным, чисто народным и, по временам, глубоко религиозным произведениям. Для показа этого поэтического хода в развитии поэта преимущественно и собраны они были издателем, и на это указывают, как сама биография, так и все примечания к сим ранним произведениям его музыки. К тому же, в более гладкой и искусной форме подобные стихотворения и ныне допускаются к печати обыкновенной цензурой.

(Пьеса получила одобрение к печати, и пуританизм цензора не признан достаточною причиной ее устранения).

III.

*К исключению.*

*Объяснение издателя.*

На об. стр. 30 (по рукописи), целиком все стихотворение «Элегия».  
 «О ты, которая из детства  
 Зажгла во мне священный жар!  
 .....  
 .....  
 Я звучным строем песней новых  
 Тебя приветствовать дерзал,  
 Будил молчанье скал суровых  
 И слух ничтожных утрашал;  
 Услышат песнь мою потомки  
 Средь отдаленнейших веков,  
 И лиры гордые обломки  
 Переживут венки льстецов».

Кроме того, что вся эта элегия, кажется, не имеет ясных поводов к исключению, но она уже была помещена на наших глазах в журнале «Современник» 1853 года, почерпнувшем ее из старого альманаха «Северная звезда» 1829 года. Это не один пример участия стихотворений Пушкина, о которой упомянуто выше.

(Пьеса была пропущена, благодаря этому указанию на противоречия цензурного ведомства с самим собою. Вместе с другими подобными же указаниями, доверенность к его определениям была сильно поколеблена, как мы слышали, в глазах главного правления цензуры. «Современник» оказал услугу изданию, напечатав пьесу прежде всех).

IV.

*К исключению.*

На стр. 9 (по рукописи):

а.

Окончание Стихотворения «К Н.Г. Л — ву».

«Когда ж пойду на новоселье  
(Заснуть, ведь, общий всем удел),  
Скажи: Дай Бог ему веселье!  
Он в жизни хоть любить умел».

б.

Четыре стиха, напечатанные в первом издании «Руслана и Людмилы» (1820), но не вошедшие во второе (1828):

Ужели Бог нам дал одно  
В подлунном мире наслажденье?  
Вам остаются в утешенье  
Война, и музы, и вино.

с.

Пять стихов «Руслана и Людмилы», таким же образом не введенные из первого издания во второе:

«Не прав фернейский злой  
крикун!

Все к лучшему: теперь колдун  
Иль магнетизмом лечит бедных  
И девочек худых и бледных,  
Пророчит, издает журнал:  
Дела, достойные похвал!»

(Оба выпуска находятся в примечании издателя к «Руслану»).

*Объяснения издателя.*

Первое из этих мест, кажется, не заключает в себе намерения какого-либо неприличного намека, а вторые два составляют варианты к поэме «Руслан и Людмила», которые издатель просит позволения обозначить по крайней мере одним стихом, если не могут быть допущены в печать вполне.

(Допущены вполне, как и окончание стихотворения «К Н.Г. Л — ву». Приходится опять задавать себе вопрос: какими соображениями мог руководиться цензор, осуждая на изгнание стихи, не представляющие даже и тени чего-либо похожего на вольнодумство? Впрочем далее увидим, что тот же цензор нашел предосудительным и самое предисловие Пушкина ко второму изданию поэмы, имевшее в виду исключительно критиков этого произведения).

## 3.

Места, присужденные цензором к исключению из прозаических статей и заметок Пушкина, большинство которых тоже не попало в посмертное издание 1838 — 1841 годов.

*К исключению.*

На об. стр. 12 (по рукописи), в статье «Заметка на сцену из фон-Визина: Разговор у княгини Халдиной» Пушкин, разбирая характер Сорванцова, одного из действующих лиц этой сцены, говорит:

«Он продает крестьян в рекруты и умно рассуждает о просвещении. Он взятки не берет из тщеславия и хладнокровно извиняет бедных взяточбрателей. Словом, он истинно русский барич прошлого века».

(Место восстановлено по приговору комитета, но осуждение его предварительную цензурой опять свидетельствует, что в ее практике заметки, свободно являвшиеся на свет в 1831 году, уже возбуждали тревогу, хотя бы касались и таких явлений, с которыми боролось само правительство).

*К исключению.*

На об. стр. 67 (рукописи) отрывок из письма Пушкина к Погодину и замечание сего последнего. Поводом для того и другого служило стихотворение: «Герой».

Письмо Пушкина:

«Посылаю вам из моего Патмоса апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в «Ведомостях»; но прошу вас и требую именем нашей дружбы — не объявлять

## I.

*Объяснения издателя.*

Этот разбор неизданной сцены фон-Визина написан Пушкиным в 1831 году и тогда же напечатан в «Литературной Газете» Дельвига. Сцена вошла в состав Смирдинского издания фон-Визина. Как она, так и разбор Пушкина, известны всем более двадцати лет, да и самое место, кажется, содержит осуждение поступков выдуманного лица и злоупотреблений фон-Визинского времени, не имеющего никаких отношений к настоящему. Такие злоупотребления и тогда преследовались публикою в комедиях и сценах.

## II.

*Объяснения издателя.*

Место это требует пояснения. Пушкин написал в 1830 году патристическое стихотворение «Герой», где удивляется великодушию государя императора, посетившего лично Москву в самое развитие там холеры. Стихотворение напечатано было тогда в журнале «Телескоп», а по смерти автора — в издании его «Сочинений» 1838 года (том IX, стр. 218), с тем примечанием г. Погоди-

никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то разрешите Дельвигу, но также без моего имени и не моею рукой переписанную».

Замечание Погодина:

«Я напечатал стихи тогда же в «Телескопе» и свято хранил до сих пор тайну. Кажется, должно перепечатать их теперь. Разумеется, не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением после многозначительного «Утешся»: «29 сентября 1830», есть день прибытия государя императора в Москву, во время холеры».

(Оба текста были, конечно, восстановлены, но промах, почти антиправительственный, со стороны предварительной цензуры поставлен был ей на вид главным правлением, как мы слышали, и много способствовал к устранению ее доводов, которыми она защищала свои приговоры, Такие противоправительственные запрещения, хоть и менее яркие, чем в настоящем случае, цензура делала тогда сплошь и рядом).

*К исключению.*

На стр. 3 (рукописи), выписка из предисловия к поэме «Руслан и Людмила», напечатанного при втором ее издании (1828):

«Долг искренности требует также упомянуть о мнении одного из увенчанных первоклассных отечественных писателей, который, прочитав «Руслана и Людмилу», сказал: «Я тут не вижу ни мыслей, ни чувства, вижу только чувственность». Другой (а может быть и тот же) первоклассный отечественный писатель приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом:

Мать дочери ведет на эту сказку плюнуть. 18 февраля 1828».

на, которое тут изложено. Таким образом оно уже имело и имеет высочайшее дозволение на перепечатку его, да и скрыть благороднейшее чувство удивления к поступку государя, вырвавшееся бескорыстнейшим образом у Пушкина, было бы оскорбительно для памяти последнего.

### III.

*Объяснения издателя.*

Все это место из предисловия к «Руслану», издания 1828 года, относится к г. Каченовскому, которого Пушкин иронически называет первоклассным писателем, и который постоянно нападал на все произведения Пушкина. Выпуском этого места обезобразится весь отрывок, известный тоже уже более пятнадцати лет и который уже несколько раз был перепечатываем в журналах.

(Отрывок прошел благополучно, но здесь любопытны причины, заставившие издателя отнести пушкинский намек на Каченовского. Вообще трудно сказать теперь, кого подразумевал Пушкин в своей заметке, но если позволить себе догадки, то скорее можно думать, что она относилась к маститому уже тогда и не совсем благорасположенному к поэме И.И. Дмитриеву. Цензор видимо руководим был мыслью, при запрещении отрывка, что первоклассный отечественный писатель, кто бы он ни был, должен состоять под покровительством распоряжения, не позволяющего критических отношений к образцовым писателям, и тогда возникала необходимость отыскать менее знаменитое имя для того, чтобы согласить комитет на удержание пушкинской заметки вполне. Каченовский сделался перед главным правлением цензуры невольною жертвой безнравственной борьбы, которая столько лет велась между писателями и толкователями цензурного устава. К такого рода уловкам и сокрытиям вынуждены были тогда прибегать все редакторы журналов и все писатели, без исключения, что и составляло самую безобразную часть их сношений с цензурой).

## IV.

*К исключению.*

На стр. 216 и 217 следующая отдельная заметка:

«Иностранцы утверждающие, что в древнем нашем дворянстве не существовало понятия о чести (point d'honneur), очень ошибаются. Сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила, во всем блеске своего безумия видна в древнем нашем местничестве. Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая суду царскому свои родословные распри. Юный Феодор, уничтожив сию спесивую дворянскую оппозицию, сделал то, на что не решились Иоанн III, ни нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов».

*Объяснения издателя.*

Этот отрывок из «Мыслей» Пушкина, напечатанных в «Северных Цветах» 1828 года, во всем схож с тем, что всякий ученик может слышать от учителя истории в гимназическом курсе. Здравомыслие Пушкина еще обнаруживается тут весьма замечательным образом посредством сравнения безумства местничества с безумством какого-нибудь point d'honneur, который, несмотря на предписание рассудка и самого закона, вооружает людей для поединка и смертоубийства.

(Мысль Пушкина от 1828 года не оказалась опасною и для публики 1853 года и была пропущена).

V.

*К исключению.*

Из возражения Пушкина на статью г. Броневского об «Истории Пугачевского бунта». В этой антикритике Пушкин говорит на стр. 132 (рукописи):

a.

«Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий. Например...»

b.

Текст Броневского, приводимый Пушкиным в подстрочном примечании для примера пошлых размышлений своего критика:

«Нравственный мир, также как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла, то Емелька Пугачев бесспорно принадлежит к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным, ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она весте с тем доказывает, как низко может падать человек, и какую адскою злобою может быть преисполнено его сердце. Если бы деяния Пугачева подвержены были малейшему сомнению, я с радостью вырвал бы страницу сию из моего труда!»

*Объяснения издателя.*

Весь параграф (a) принадлежит к полемике Пушкина с г. Броневским. Место о Пугачеве (параграф b) принадлежит г. Броневскому, и как он приводил места из Пушкина, казавшиеся ему слабыми и ничтожными, так и Пушкин пользуется правом такового же разбора в отношении к своему критику. Для отстранения всякой двусмысленности следует, может статься, выпустить первые два прилагательные и начать статью так: ... «Размышления, коими» и пр.

(К счастью, никаких выпусков на этот раз не понадобилось, потому что главное правление, дозволившее все место, приняло на себя работу успокоить сомнение представителя цензуры относительно возможности пошлых размышлений политических и нравственных, сомнение которое и было поводом к исключению пушкинской заметки и горячо, как мы слышали, им отстаивалось. Любопытно, что наравне с Пушкиным должен был пострадать и текст Броневского, ибо и его тирада, взятая из критической статьи, напечатанной в «Сыне Отечества» 1835 года, тоже приговорена была к устранению. И судья, и подсудимый одинаково оказывались в неправильном положении перед цензурой. Правда, что этим способом устранялась вообще литературная полемика, которой всего более и боялась цензурное ведомство).

#### V и последнее место.

##### *К исключению.*

В статье: «Российская академия» два места:

а.

Выписка, которую Пушкин делает из журнала: «Собеседник любителей русского слова» 1783 года, где находились вопросы фон-Визина и ответы на них императрицы Екатерины II, и которая гласит:

«Вопрос фон-Визина: Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют, и весьма большие? Ответ: Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос родился от свободолюбия, которого предки наши не имели».

«Сии ответы», прибавляет Пушкин, — «писаны самою императрицей».

б.

Следующее место о Карамзине:

«Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его памяти, неизвестным еще для современ-

##### *Объяснения издателя.*

Эти два места из статьи Пушкина, напечатанной в «Современнике» его собственного издания 1836 года и, стало быть, уже знакомой всей русской публике, весьма различны по значению своему. Первое (буква а) есть выписка из старого журнала, в котором участвовала, как не безызвестно, сама императрица Екатерина II. На дерзкий и неосновательный вопрос фон-Визина она возразила строго, что заставило, как тоже не безызвестно, самого фон-Визина просить прощения в неосмотрительности своей. Это принадлежит к анекдотам ее царствования, повторенным во многих книжках. В этом месте предполагается даже исключить фразу Пушкина: «Сии ответы писаны самою императрицей», которая уже необходима для понимания предшествующих вопросов, не осужденных цензором. Издатель просит об удержании ее. Что касается до второго места (буква б), то, представляя его благоусмотрению начальства,

ников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли «О древней и новой России» со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы, прочел и остался по прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя, и благородство патриота...

осмелюсь только прибавить, что вся статья Пушкина состоит из 4,5 страниц, с которыми публика уже ознакомлена, как сказано выше. Выпуск этого места, столь важного для священной памяти благословенного государя и для уважаемой памяти историографа был бы, может статься, замечен читающими. Еще основательнее покажется это опасение, по отношению к обоим местам, если вспомнить, что вопросы фон-Визина и ответы императрицы Екатерины II напечатаны уже целиком в издании сочинений фон-Визина 1852 года, а многочисленные отрывки из рассуждения Н. М. Карамзина: «О древней и новой России» приложены в издании его «Истории» г. Эйнерлингом.

(Не смотря на усилия издателя, старавшегося, как видим, для спасения спорных мест, затронуть самые чувствительные стороны в уме судей, успех на этот раз не вполне увенчал его труд. Выписка из журнала 1783 года с щекотливым вопросом фон-Визина была безусловно отвергнута, всего вероятнее потому, что в отрывке этом упоминалось о больших чинах, хотя при вторичном своем появлении после 1783 года в «Современнике» 1836 года он нисколько не обратил на себя особенного внимания публики. Вместе с ним погибла и фраза Пушкина, так необходимая для понимания сущности дела. Той же участи, вероятно, подверглась бы и заметка о Карамзине, если бы не нашла, как тогда было слышно, горячих защитников в лице одного развитого члена главного правления и самого министра народного просвещения, высоко ценивших смелость и патриотическое одушевление суждений Карамзина о делах своей эпохи. Пушкин был чуть ли не первым человеком у нас, заговорившим публично о «Древней и новой России» Карамзина. Дотоле трактат ходил по рукам секретно, в рукописях, как оппозиционный и, по мнению других, даже агитаторский голос не призванного советчика. Пушкин, на кануне своей смерти, собирался вывести записку Карамзина из состояния подпольной литературы, в котором она обреталась, и предполагал напечатать обширные выписки из нее в «Современнике» 1837 года (мысль его приведена отчасти в исполнение продолжателями «Со-

временника» уже после него). Эти сведения мы почерпаем из статьи, напечатанной в том же издании «Сочинений Пушкина» 1855 — 1857 годов (т. VII, стр. 122 — 123) часть II), которая также и облегчает работу будущих издателей и библиографов по восстановлению полного текста его прозаических статей, указывая на первоначальные, не искаженные еще им редакции, являвшиеся в журналах и альманахах).

#### Заключение записки издателя:

Представляя все сии 19 мест на обсуждение начальства, издатель «Сочинений Пушкина» решает повторить свое письменное заверение, что он пользуется данным ему на это дозволением единственно из желания составить издание, которое удовлетворяло бы, как все требования цензурные, так и ожидания публики, и могло бы служить образцом для последующих предприятий в том роде.

---

Таково содержание характерной «записки». Позволяем себе прибавить к ней еще несколько строк.

В результате изложенной здесь тяжбы, подробности которой легко могли прискучить читателю по причине бесконечного повторения одной и той же главной темы с таким же однообразным повторением и реплики на нее, оказалось, однако же, весьма важное приобретение. За исключением двух-трех мест, тексты Пушкина прорвались сквозь волшебное цензурное кольцо, которым были обведены. Успех этот никак нельзя отнести к убедительности или неотразимости доводов, отысканных «запиской». Что значили доводы и доказательства там, где судьба процесса всецело зависела от личных настроений присутствующих, от их воззрений, имевших свою аргументацию и свою логику, которые уже никакому обсуждению не подлежали? Можно с достоверностью сказать, что исход тяжбы был бы совсем иной, если бы в течение ее не обнаружились симпатии самого министра народного просвещения и влиятельной части его канцелярии к делу истца. Не говоря уже о том, что «записка» была ими очень внимательно прочитана, но канцелярия еще дополнила ее своими указаниями и соображениями, которые казались наиболее пригодными в настоящем случае. Мы видели черновую рукопись «записки» с поправками, ссылками на уставы и законодательство, сделанными рукой канцелярского чиновника, и не тайно, украдкой, а, просто, как делаются обыкновенные редакторские поправки в нужной бумаге. Канцелярскою тайной осталось только все происходившее в заседаниях три-

бунала: какого рода прения там завязались около «записки», или их вовсе не было, кто состоял в числе ее защитников и ее противников, даже и то, докладывалась ли «записка» формальным образом, или только служила справкой во время совещаний. Темные слухи оттуда, доходившие до заинтересованных лиц, ограничивались мелочами и ничего существенного не представляли. Достоверно одно, что министр народного просвещения излагал свои мнения в ее духе наперекор своему подчиненному, попечителю учебного округа, который отстаивал помарки цензора почти как политическую необходимость и, выходя из заседания, промолвил с негодованием: «Еще не бывало, чтобы целое ведомство пожертвовано было неизвестно откуда взявшемуся господину». Это разноречие в министерстве было своего рода знамением времени, обещающим близкое падение обычной цензурной практики. Старая система цензуры, состоявшая в водворении низменности мысли и бесцветности содержания в литературе, дошла до апогея своего развития и стала производить исключительно массы нелепых приговоров и непостижимых запрещений, возбуждавших общий смех. По всему русскому миру читателей ходили анекдоты о решениях, заметках и поправках цензуры, достойных какого-нибудь карикатурного лица в незатейливом водевиле, что и заставило сказать одно очень высокопоставленное лицо (графа Д.Н. Блудова) и в очень влиятельном салоне во всеуслышание: «Наши цензора сродни паясам». Общество потешалось рассказами о шутках, выкидываемых ими, но надо прибавить: оно и негодовало. Система изжила самое себя до безобразия. Этому обстоятельству, может быть, и следует всего более приписать снисхождение, оказанное издателю, и считать возрождавшееся требование на человеческий смысл в управлении печатью лучшим и сильнейшим его помощником в ведении всего дела.

Заведенный порядок однако же не так скоро уступает место другим, сменяющим его порядкам. Издание Пушкина 1855 года в полном его составе висело на волоске вплоть до своего появления. Когда воспоследовала окончательная санкция, дававшая право на выпуск в свет и всех произведений Пушкина, дополняющих старое издание и уже проверенных министерством народного просвещения, возник вопрос, как понимать слова, которыми она сопровождалась: «без всяких прибавок и неуместных умничаний по их поводу». Представлялась возможность применить последнее из этих решений к биографии и примечаниям, собранным в издании, и отказать им в пропуске, за что уже и были поданы голоса; и являлась возможность

отнести решение к критикам и рецензиям, которые могут явиться после издания. Министерство народного просвещения растолковало его в последнем смысле и приняло на себя ответственность за такое понимание его сущности, чем и открыло дорогу в свет труду издателя в полном его объеме.

Вот при каких условиях приходилось работать над изданием Пушкина не далее как в пятидесятых годах...

1880 год.

### III.

## НОВОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА

г. Исакова под редакцией П. Ефремова  
(1880 — 1881 годов).

Начав просмотр нового издания Пушкина, мы были удивлены, как и многие другие прежде нас, тоном ожесточенной полемики, какую г. редактор открыл с первых же страниц своих примечаний к стихотворениям поэта против старого издания сочинений Пушкина 1855 года, вышедшего под редакцией П.В. Анненкова. Чем дальше следили мы за указаниями, толкованиями, выходками г. Ефремова, тем более убеждались, что вся эта работа унижения старого издания 1855 года без меры и часто без всякой причины не имеет ничего общего с критическим исследованием его достоинств и недостатков, а направлена к тому, чтобы особенно отрекомендовать новое предприятие в том же роде, давно ожидаемое публикой. Все усилия г. Ефремова клонятся к тому, чтобы заставить забыть досадное старое издание, изгладить о нем память в литературе, умалить или вовсе удалить воспоминание о всем том, что оно впервые дало или впервые исследовало. Отыскав правильную точку зрения на библиографические изыскания г. Ефремова, как на бойкую литературную рекламу, нам уже легко становится признать ее достоинства. Реклама отличается замечательною ловкостью, изобретательностью мотивов и неожиданностью заключений, а если она не всегда отвечает истинному положению дела, то кто же станет требовать от рекламы правильной и добросовестной оценки чужого труда? Но, признавая вполне законность литературной рекламы и в настоящем случае искренно желая ей успеха, если она поможет увеличить число читателей и

поклонников Пушкина, мы должны однако же заметить, что есть пределы для рекламы, которые ей не следовало бы переступить в виду даже сохранения своего обаяния. Чего только не наговорил г. Ефремов и на себя, и на предшественников своих в двух первых томах нового сборника на 70-ти и на 42-х страницах своих примечаний, к ним приложенных! Дело доходит у него до азарта и до курьезов, способных смутить самого доверчивого читателя. Он аттестует, например, прежнего издателя «Сочинений Пушкина» 1855 года человеком, крайне небрежно пользовавшимся драгоценными рукописями поэта, которые находились в его руках, поверхностно, а не порочно сличавшим тексты, безграмотно прочитавшим некоторые стихи и проч. (т. I, стр. 509). Поводы к составлению подобного приговора до того мелки, что разлад между ними и непомерно торжественными и суровыми заключениями судьбы мог бы привести в недоумение, если бы мы не знали источников этого разлада. Большею частью поводы эти заключаются в описках и опечатках, которые в первом систематическом издании сочинений Пушкина при разборе многочисленных документов, до них относящихся, были почти неизбежны. Впрочем, винить в легкомыслии г. Ефремова нельзя: он знал, что делал, когда резкостью выражения надеялся отвести глаза читателя от ничтожества своих заметок и укрыть за ними собственные свои промахи, которые уже менее извинительны, чем погрешности первоначального издания 1855 года. Также точно нельзя вменять ему в преступление и хвастливое возглашение на весь читающий русский мир о каждой перемене в тексте, о каждой незначительной добавке к нему, какие он почел за нужное сделать: обязанности редактора были бы очень тяжелы, если бы исполнять их скромно, как призвание. Гораздо менее извинительны некоторые суждения и афоризмы Ефремова, похожие на странности. Так, одна мелкая добавка к раннему лицейскому стихотворению Пушкина (о лицейских пьесах всего более и хлопчет г. Ефремов) вызвала у него замечание: «Г. Анненков, хотя имел рукопись, исправленную Пушкиным для издания 1826, но обратил внимание только на поправки поэта, а не прочел всего стихотворения (т. I, 516). По этому определению выходит, что г. Анненков открыл секрет вводить поправки в стихотворения поэта, не читая последних вовсе. Эта удивительная мысль не просто сорвалась с языка у г. Ефремова; он повторяет ее в различных вариантах на разных пунктах своих примечаний: так она ему полюбилась. Рядом с нею можно поставить следующий отзыв. Не находя в одной пустой стихотворной записочке Пушкина к приятелю»

лям (из семи строк) последнего стиха, вероятно, и не стоявшего в рукописи поэта, г. Ефремов пеняет г. Анненкову, впервые напечатавшему отрывочек, почему он не упомянул о недостающем стихе (т. I, стр. 553). О чем же было упоминать, когда дело само по себе представлялось достаточно ясным, а надобности в библиографической болтовне для пушечей важности совсем не требовалось? Правда, что и здесь встречается оправдание для г. Ефремова. Он не мог подавить в себе рвения бросить еще один лишний раз злобный укор, хотя бы и мало мотивированный, старому изданию 1855 года, которым он, однако ж, в течение работы, пользовался весьма усердно: платить за услугу оскорблением, когда речь коснулась этого издания, сделалось потребностью его нравственной природы. Для удовлетворения ее он оказался способным позабыть на время даже и современную нашу историю и вот что пишет по поводу пьесы Пушкина «Паж, или пятнадцатилетний король», в которой «нашел пропуски, сделанные посмертным изданием», прибавляя к тому: «о чем г. Анненков, имевший подлинную рукопись, вовсе не упомянул, а это, при его обычае постоянно указывать пропуски, сделанные самим поэтом или редакторами посмертного издания и постоянно же умалчивать о цензурных исключениях, дает повод полагать, что строфы эти не явились по особым причинам» и т. д. Можно подумать, что в 1853 — 1854 годах, когда изготовлялось старое издание, молчание о цензурных исключениях исходило просто из обычая, усвоенного редактором, и зависело от его доброй воли! Но стоило ли думать о подобных мелочах?

Критический анализ различных редакций пушкинского текста замечателен еще у г. Ефремова и во многих других отношениях. Ни у одного комментатора произведений знаменитых авторов нельзя найти столько игривости, такого расположения к шутке и фельетонной шалости. Обширная сеть цитат, выписок, поправок его вся пропитана, за малыми исключениями, блесками сомнительного остроумия, фальшивой иронии. Он умеет высказывать длинные замечания тоном водевиллиста и может быть по справедливости назван творцом нового рода увеселительной библиографии. По-видимому, приемы эти ему были нужны в виде вознаграждения читателя за пустоту многих его соображений. Нужно ли, например, г. Ефремову указать на ошибку известного библиографа В.П. Гаевского, полагавшего, что одна эпиграмма дяди нашего поэта Василия Львовича Пушкина имела в виду знаменитого его племянника Александра Сергеевича Пушкина, г. Ефремов делает свое указание в следующей фор-

ме: «Сомнительно, чтобы Вас. Льв. (Пушкин — дядя), мог написать эпиграмму на не родившегося еще племянника, ибо она напечатана в 3-й книге Аонид на 1799, а поэт родился только в мае этого года» (т. II, стр. 430). Это прелестное «сомнительно» окрашивает простую заметку в приятный ругательный цвет. В другой раз, по поводу шуточной пьесы Пушкина «Ода графу Хвостову», редактор без всякой причины и какой-либо связи с произведением бросает комок грязи в г. Гербеля, издателя Шиллера и Шекспира в русских переводах (т. I, стр. 569). И сколько таких юмористических блесков разбросано г. Ефремовым по всем частям и составам его труда! Зачем все это, и главное, у места ли в издании классического писателя?

Роли редактора произведений великого отечественного деятеля г. Ефремов совсем не понимает. Он перенес в строгую область библиографических и филологических исследований говор приятелей, личные свои предрасположения и проч., бесцеремонно перемешав все это с прямою своею задачей — восстановления правильного чтения пушкинских произведений. Он точно обрадовался возможности показать себя в качестве публициста, умеющего постоять за свои определения, хотя бы и подсказанные капризом мысли. На почве сравнительной критики текстов и под покровом великого имени художника идет у него мутная волна каких-то страстей и расчетов. У подножья величавого образа Пушкина раздаются задорные крики, шум полемических гипербол, неумеренных слов, которые возбуждают невольно вопрос: в чем же состояла цель нового издания — в добросовестном ли пояснении пушкинских текстов, или в доставлении средств развернуться на просторе бесцеремонному балагурству его редактора?

В числе приемов, употребляемых г. Ефремовым, следует сказать еще несколько слов об упомянутом уже выше постоянном его обычае возводить в литературные преступления простые типографские недосмотры, явные описки, иногда спорную расстановку запятых (т. I, стр. 515, 516). Расчет верен: чем страшнее покажется вина, тем почетнее сделается ее обличение. Во всех случаях, где г. Ефремов встречает промах, часто требующий одной черты карандаша для полного исправления своего, он торопится принять внушительную позу спасителя пушкинской мысли, мстителя за нанесенное ей оскорбление, хотя дело обыкновенно идет о словах, буквах, перестановке фраз и т.п. Ревность о чистоте текста служит тут предлогом для тщеславной потехи. Редактор устраивает себе нечто подобное судейской кафедре, с высоты ее судил весь литературный мир и все публика-

ции о Пушкине за их корректурные, орфографические и издательские прегрешения. Но самая большая часть суровых приговоров редактора опять-таки падает на долю старого издания Пушкина 1855 года; поэтому мы и осуждены поневоле беспрестанно обращаться к его толкованиям на издание 1855 года, так как в них-то именно заключаются наиболее крупные перлы его комментаторской деятельности.

В своих «Материалах для биографии Пушкина» 1855 года г. Анненков приводит цитату в четыре стиха из превосходного стихотворения «Наперсница волшебной старины», им же и найденного и впервые опубликованного. К сожалению, второй стих цитаты он, по недосмотру, написал так: «Мой юный ум напевами пленила» вместо: «Мой юный слух...», как следовало бы и как значится действительно в пьесе, целиком приводимой через несколько страниц г. Анненковым в тех же своих «Материалах». Ошибка в цитате дает г. Ефремову случай показаться в полном блеске библиографической эрудиции своей и приступить к довольно забавному следственному процессу. Он задается вопросом: не было ли двух списков стихотворения, и порешив его отрицательно, переходит к главному пункту обвинения: «Кроме того, г. Анненков, по-видимому, плохо читал или плохо переписывал рукописи поэта для издания, потому что нередко одно и то же стихотворение воспроизводилось в разных местах издания в разных же видах (I, 509). И затем следует указание ошибки. Каким образом на примере одной погрешности в цитате из четырех стихов, отъятой от пьесы, имеющей их 26, г. Ефремов мог придти к заключению, что старое издание 1855 года печатало цельные стихотворения, с одного и того же списка, разное в различных местах, — не надо спрашивать: все это только средство разыграть, под прикрытием якобы серьезного труда, комедию скандального характера. Можно только пожалеть, что она дается на страницах, посвященных деятельности гениального русского человека. Таких фальшфейеров библиографической эрудиции, освещающих пустоту, у г. Ефремова множество. Если бы разобрать всю массу примечаний, собранных им только в двух первых томах своего издания, можно бы удивить читателя тою долей натянутости толкований, искусственных выводов из самых простых данных и посылок, какую они заключают в себе. К счастью его, подобная, столь же обширная, сколько бесполезная работа не скоро найдет охотников. Добраться в указаниях и заметках г. Ефремова до истинного значения фактов, заняться извлечением из этой груды всяких существенных и пустых подробностей какого-

либо серьезного материала для истории нашей печати представляется делом в высшей степени трудным. Кажется, что г. Ефремов даже и рассчитывал на эту трудность и на сопряженную с нею относительную безответственность для себя.

Иногда преувеличения его и непонимание прямого смысла того, что он читает, по истине поразительны. Тот же составитель «Материалов для биографии Пушкина» касается в одном позднейшем своем труде известного общества «Зеленой лампы», членом которого состоял одно время наш поэт, и определяет общество это, как простое оргиаческое, не имевшее никакой политической окраски, занимавшееся преимущественно театральными делами и устраивавшее у себя пиры и зрелища далеко не целомудренного характера. Определение это не понравилось г. Ефремову и отразилось в его уме и понимании следующим образом: «...Анненков неосновательно свел (общество «Зеленой лампы») на степень развратно-грязного и шутовского, смешав его даже с татариновской сектой» (прим. 1, т. I, 559). Ничего подобного не делал г. Анненков, но что нужды? Надо же поместить наперед изготовленное, крепкое слово на предназначенное ему заранее место. В тех случаях, когда по отсутствию документов и предлога к употреблению такого слова оно становится затруднительным, г. Ефремов прибегает к восклицательным и вопросительным знакам. В этом роде весьма замечательна пара знаков удивления, пристегнутая им к словам г. Анненкова о кишиневском послании поэта, 1821 года, В.Л. Давыдову. Одна часть послания, им же г. Анненковым и найденного в бумагах поэта, была приведена им в статье о Пушкине («Вестник Европы» 1874 г., № 1), а от сообщения другой биограф отказался, ограничившись передачей стихов, где поэт извещает о своем говении у Инзова, и заменил все следовавшее затем словами: «и так далее до последних пределов глумления». Передавая эти строки г. Анненкова, г. Ефремов сопровождает их двумя знаками восклицания в скобках (т. I, стр. 558). Что означают они, какому движению мысли г. Ефремова призваны отвечать? Сомневается ли он в том, что в минуты страсти поэт мог нисходить до глумления над очень важными предметами, — на это есть свидетельства, которые г. Ефремов лучше знает, чем кто-либо другой, — или г. Ефремов негодует на непочтительное обозначение словом глумление произведений такого рода, как вышеупомянутое послание В.Л. Давыдову? Нелегко понять редактора нового издания в роли защитника, как и в роли обвинителя. Но все это еще безделица в срав-

нении с тем, что является в других местах под пером редактора нового издания.

Привычка подменять мысли и намерения, встречаемые автором, теми, которые приходится более по вкусу самого редактора, должна была довести его до неблагоприятных заявлений. Пример такого печального результата библиографических разысканий г. Ефремова мы видим в примечании, которым он сопровождает два знаменитых послания Пушкина «К цензору». Выписываем существенную его часть целиком: оно дает образчик всей манеры г. Ефремова относиться к своей задаче редактора.

«Два послания цензору», говорит он, — «... в сокращенном виде явились в VII т. издания г. Анненкова, который имел мужество заявить, что они под его рукою стали лучше, ибо очищены им: «Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц и событий, они теряют всякий признак сатирического или полемического направления и только могут служить образцом строгого и высокого понимания одного из важнейших общественных служений». Действительно, мы видим цензурную рукопись VII тома и не нашли в этих стихотворениях ни одного цензурного исключения, так что вся честь очистки принадлежит г. Анненкову, который и заглавие им дал «Посланий к Аристарху...» (I, стр. 572).

Читатель уже догадывается, чего надо ожидать в конце от позорного обвинения. По справке, наведенной нами в VII томе издания г. Анненкова, нет не только ничего похожего на заявление, что оба великолепных послания сделались еще лучше от выпусков, в них произведенных, но нет еще и признака нити, которая давала бы возможность связать слова г. Анненкова с тем толкованием их, которое представил г. Ефремов. Редактор старого издания 1855 — 1857 годов очень сдержанно говорил в своем примечании к обоим посланиям Пушкина, которые он первый и успел провести в печать: «Решаемся представить публике эти два послания, писанные в Михайловском уединении 1824 года и хорошо известные почитателям нашего поэта. Очищенные от намеков, касавшихся современных поэту лиц»... и так далее, как в цитате г. Ефремова. Тут, очевидно, выступает намерение успокоить враждебные силы, мешавшие до того появлению стихотворений в печати, и успокоить их указанием на выпуски, — но где же хвастовство искажением текста, будто бы произведенным редактором с целью его улучшения? Мужество, о котором говорит г. Ефремов, гораздо более проявляется у него самого, когда он находит возможность приписать подобные намерения г. Аннен-

кову. Нельзя требовать, чтобы г. Ефремов помнил, с какими условиями печати, теперь уже неизвестными современным писателям, боролся прежний издатель, но одно обстоятельство могло бы, кажется, остановить его внимание. В том же VII-м томе старого издания потребовалось замещение полных имен гг. Булгарина и Греча одними инициалами Б. и Г. в памфлете Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Б. и о прочем», хотя их полные имена красовались уже на страницах журнала «Телескоп», где памфлет был впервые помещен. Не скажет же г. Ефремов, что и это изменение произошло по инициативе и вследствие тайного предрасположения издателя к этим почетным лицам прежней русской журналистики? Впрочем, почему бы ему и не сказать этого после всего, что мы уже от него слышали? Странно только, что литератор, хвастающийся знакомством с мельчайшими явлениями старой периодической нашей печати, не знает истории ее за последнее, ближайшее к нам время. Сохрани он какое-либо понятие о ней, он, может быть, не стал бы удивляться, что послания «К цензору» не могли предстать на суд к наследнику и преемнику, того же самого цензора, о котором в них говорится, под своим настоящим заглавием и потребовали его изменения в послания «К Аристарху». Может статься, он понял бы также, что произведенные выпуски из посланий сделаны по указаниям цензурной администрации, видевшей в этих образцовых произведениях глубокомысленного, патриотического и консервативного характера, не более как противоправительственную сатиру. Что касается до типографской тетрадки, с которой печатался VII-й том старого издания, и в которой г. Ефремов не нашел цензурных помарок, то они не могли там встретиться после предварительного соглашения с ведомством о печати на счет формы, какую следовало придать обеим пьесам для получения права явиться на свет. После всего сказанного спрашивается: имел ли г. Ефремов повод и основание к дикому обвинению?.. Оскорбительно и печально встречаться с подобными явлениями при разборе издания сочинений Пушкина!

Переходим к самим этим сочинениям, то есть, к плану, принятому г. Ефремовым для распределения произведений Пушкина в издании. В виде нововведения он отбросил прежнюю общепринятую редакторскую систему расчленять громадный литературный материал, оставленный Пушкиным, на его естественные, так сказать, очевидные бесспорные отделы в роде отдела стихотворений, поэм и драм и предпочел другую, состоящую в печатании сплошь под одним годом, не разбирая формы произведений, всего, что в этот год было

создано поэтом. В принципе строгая хронологическая последовательность не может встретить возражений, но она имеет тоже свои границы. Редактор должен был подумать о последствиях и неудобствах, какие встретятся при ее абсолютном приложении к делу. И старые издания, принявшие разделение произведений Пушкина на большие группы, ни мало не нарушали хронологического порядка, принятого ими за основу своих изданий, а только облегчали читателю способ классифицировать огромную, многостороннюю деятельность поэта и легче отдавать себе отчет в ней. Здесь видим совсем другое. Прежде всего система редактора не выдержана вполне во всех частях издания, да и не могла быть выдержана. Для этого следовало бы, руководясь одним хронологическим принципом, решиться на помещение рядом со стихотворными произведениями Пушкина и произведений его в прозе, перерезать лирические пьесы рассказами, повестями, трактатами, написанными в один год с ними, а потом начинать снова, под следующими годами, тот же пестрый полонез из всех произведений, стоящих на очереди в данный момент. Пред этим результатом своей системы отступил и редактор, допустив особый отдел прозы Пушкина. В самом зачислении некоторых поэм в ряды пьес одного точно определенного года уже есть несообразность: многие из них, как «Руслан», «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Галуб», писались автором несколько лет сряду, и объявлять их ровесниками каких бы то ни было других произведений значит погрешать неточностью, которую так преследует редактор везде, где ее находит или где ее предполагает. Но главная ошибка этого плана заключается в том, что по милости его смешение важного с неважным, высокохудожественного создания с шуткой и безделкой, не позволяет читателю укрепиться в одном художественном настроении. Для того, чтобы понять, какое противозстетическое впечатление производит это нагромождение пьес, различных по форме, в одну кучку и друг на дружку, достаточно указать, что под 1825 годом хроника «Борис Годунов», начатая, как известно, еще ранее, помещается рядом с «Графом Нулиным», что тотчас же за «Полтавою» следует пародия: «Ты помнишь ли, ах, ваше благородье», что под 1829 годом поэма «Галуб» красуется между двумя альбомными стишками и т. д. Как бы для довершения смуты и путаницы, редактор присоединил еще к пушкинскому тексту новооткрытые эпиграммы, памфлетные выходки, частные развязные записочки и легкие импровизации поэта, которые г. Ефремов, за неимением никакого другого нового и серьезного материала под рукой, выдает за важные приобретения и

помещает в соседство со всеми высокими проявлениями пушкинского гения. Последствия этих распоряжков отразились на издании тем, что оно приобрело в двух еще первых своих частях вид какого-то огромного складочного магазина, какие бывают у оптовых торговцев, где до предметов первостепенной ценности надо добираться через груды остатков, не доделанных или испорченных вещей мастера.

Остановимся на этих новых приобретениях. Если дурно понятый принцип хронологического порядка в издании привел редактора к такому неудовлетворительному результату, то другой и тоже дурно понятый принцип достижения наивозможно большей полноты в издании наделал ему пущих бед. Редактор не подумал, что полнота полноте рознь, и бывает не только не желательная, но и положительно вредная полнота для сборников, та именно, которая способна помрачить установленный, всеми признанный лик писателя или дать ему другое выражение, чем обыкновенно носимое им или приписываемое ему, — разве только это изменение нравственной физиономии автора входит в намерения самого издателя и составляет цель его сборника. Но без такого намерения перехватывать каждое слово, пущенное на ветер поэтом в минуту искусственного воодушевления и записанное его неразборчивыми друзьями, следить за каждой его застольною импровизацией, заниматься, как важным делом, каждой минутною, нецеремонною его шуткой, все это уже представляется заблуждением страстного библиографа, но не делом эстетического вкуса и понимания. Нет сомнения, что увлечения, порывы уклонения Пушкина от прямой своей дороги, в которых он так часто раскаивался при жизни, должны были найти себе место в собрании его сочинений, но не иначе, как отделенные от цикла созданий, стяжавших ему славное имя, и не иначе, как в виде паразитов, открытых на светлом фоне его поэзии, и с целью поучительного примера. Здесь мы видим совсем другое. Благодаря необдуманному исканию полноты, редактор принял их в состав издания на одних правах с самыми возвышенными произведениями поэта, как бы признавая в этих случайных ошибках его гения одну из принадлежностей его творчества<sup>1</sup>.

Как бы ужаснулся сам Пушкин, если бы мог предчувствовать при своей жизни, что наступит время, когда каждая строка, сбежав-

---

<sup>1</sup> Старое издание 1855 года поступило гораздо осторожнее, приняв за правило относить к концу года эпиграммы, записочки, шутки Пушкина, написанные в течение его.

шая с его пера и им позабытая, каждое слово, сорвавшееся с языка и преданное им забвению, предстанут снова на свет без пояснений, часто даже обезображенные поправками, и притом в виде добавки к его жизненному подвигу!.. Известно, что Пушкин сам записал в тетрадах своих некоторые очень резкие и яркие проблески своей пылкой, увлекающейся природы, и записал, видимо, с целью сохранить перед глазами для будущих лет всю прошлую свою жизнь во всей ее наготе. Впоследствии он черпал из этой скорбной хроники потрясающие мотивы для стихотворений, в которых слышался вопль раскаяния, да вероятно, при более долгой жизни, рассказал бы по той же хронике и все болезни и страдания своей души, с ее падениями и возвращениями к свету, в поучение современникам и потомству. Наша задача, как ближайших его потомков, совсем другая; мы не можем следовать примеру Пушкина и приводить печальные документы его жизни просто как документы, не освещая их мыслью и оценкой обстоятельств и среды, из которых они выросли. Зная уже теперь вполне нравственную сущность великого человека, все психические элементы, образовавшие его личность, все благородные стремления его души и непогрешимую чистоту всех его мыслей и поэтических замыслов, мы имеем право и должны сказать, что те низменные проявления раздраженного, буйного и скандального творчества, о которых здесь идет речь, Пушкину не принадлежат в обширном смысле слова, хотя бы от них остались несомненные автографы, хотя бы они были записаны собственной его рукой на страницах его тетрадей. Они не выражают ни настоящей его природы, ни его развития, ни даже подлинного его настроения в минуту, когда были писаны. Они ничем не связаны с его действительной мыслью, не имеют корней во внутреннем его мире, не отвечают никакой склонности его ума или сердца. Все они суть детища брожения и замашек его времени, должны считаться эхом того говора и шума толпы, которая следила за ним по пятам всю жизнь, произведениями таланта, неверного самому себе, совести, изменившей собственным своим началом. Почет, оказанный им новым редактором, принявшим их за серьезные произведения пушкинской музыки, есть одна из самых крупных ошибок издания.

А почет оказан, действительно, немалый: г. Ефремов нашел возможным ввести в пантеон пушкинской поэзии такие пьесы, как «Платонизм», «Еврейки», «Сиротка», «Иной имел мою Аглаю», «Город Кишинев», присоединив к ним шутки, эпиграммы, записочки в роде «С позволения сказать», «От всенощной вечер идя домой», «Дедушка игумен», «Эпитафия духовнику», «Пародия», «Княжне Хованс-

кой» и проч. Некоторые из них он подверг исправлениям, которые потом сделались притчей у фельетонной нашей печати (и напрасно, скажем мы от себя: переделки эти, каковы бы ни были, все-таки свидетельствуют о сохранившихся еще остатках уважения к публике); а в других заменил особенно резкие слова и стихи точками, — но поправленные и оставленные с одними пропусками одинаково отдают крепким букетом литературного скандала. Переноса их из рукописных частных сборников и школьных тетрадок доброго старого времени прямо на страницы своего издания, посвященные пушкинскому тексту, редактор не подумал, что все старания его замаскировать их содержание тем или другим способом только увеличивают соблазн и силу ядовитых их намеков. Разбирать смысл этих произведений по чертам, какие они сохранили еще на себе, просто значит упражняться в неблагопристойностях. Но если уже дело сделано, то возникает другой вопрос: почему не воспользовались гостеприимством редактора все другие пьесы Пушкина того же рода, которые стоят еще за вышеприведенными и имеют право завидовать своим собратам-близнецам, удостоенным чести занять место в собрании избранных пушкинских стихотворений? Билет на вход тоже принадлежал им по праву и во имя великого принципа полноты, Ведь переделывать их и проводить, на сколько то возможно, в порядочный вид, требуемый печатью, было не труднее, чем при туалете их предшественников. Но тут мы встречаемся с необъяснимою загадкой: загадки всегда являются в деятельности человека, который лишен ясного представления целей, к которым идет. От одной части этих пьес, оставленной за бортом издания, редактор отделяется голословным и весьма спорным валовым приговором, по которому они будто бы Пушкину не принадлежат. Знатоки русской потаенной литературы, видевшие список отверженных им пьес, который приложен был в «Русской Старине» к самому объявлению о выходе в свет нового издания (!) («Русская Старина» 1880, т. XXVIII, июль, стр. 590), заметили однако же, что приложить список не значит еще приложить и доказательство, и что существуют сильные поводы сомневаться в точности этого цинического реестра. Как бы там ни было, но исключив, по своему усмотрению, недостоверные цинические эпистолы и проч., редактор добродушно принял в состав издания некоторые подобные им и уже заведомо Пушкину не принадлежащие, в чем и принужден был сознаться. Так-то обманчива, ненадежна и подвижна болотная почва секретных литературных грехов, на которую с легким сердцем вступил наш библиограф, думая отыс-

кать на ней материалы для сообщения сборнику сочинений Пушкина еще небывалой у нас полноты. В погоне за этим пустым призраком г. Ефремову удалось только представить зрелище, по истине редкое даже и в летописях русского книгопечатания, прославившегося, как известно, своим неряшеством. Словно по приговору какой-то Немезиды является у г. Ефремова ряд невольных противоречий и промахов, покрупнее всех тех, которым он посвятил в своих примечаниях самые желчные, грубые слова, какие только у него находились в распоряжении. Приписав неосновательно Пушкину безобразную балладу «Тень Баркова», он прибегает к вырезке страницы, на которой красовалось это стихотворение, и забывает, к удивлению, исключить в примечании и в алфавите ссылку на него и на страницу, уже не существующую, где оно было приведено (т. I, стр. 511 и 576). В другой раз он публично предуведомляет читателей о точно такой же вырезке и по тому же поводу произведенной им в каком-то томе, прося их вместе с тем перепутанные листы этого же тома с прозаическим текстом Пушкина обменивать на другие более правильные, заготовленные ad hoc («Новое Время» 1880 г.). Но все это, повторяем, может считаться еще мелочью в сравнении с тем, что добытые с такими жертвами и катастрофами блеклые цветы пушкинской секретной производительности редактор вплел в один венок с самыми роскошными, чистыми, благоуханными цветами не умирающей его поэзии. Так, соблазнительные пьесы: «Олиньке Масон» и «Платонизм» идут рука об руку с художественными антологическими: «Дорида», «Дориде»; за непристойною «К Еврейке» следует, через одно стихотворение, «Наполеон»; вдохновенное «К Овидию» соприкасается, поверх двух маленьких отрывков, с циническою «Иной имел мою Аглаю», и вообще контрасты, режущие глаза, встречаются беспрестанно в издании и составляют его отличительный характер.

Могут сказать однако: так было и в жизни поэта, полной контрастами, и редактор не виноват, когда по деспотическому указанию цифр годов свел их вместе и поставил друг против друга. В том и дело, что так не было в жизни, что между Пушкиным, писавшим «Подражания Корану», и тем же Пушкиным, чертившим «Дедушка игумен», лежит гораздо более пространства и времени, хотя они и принадлежат к одному году, чем показывает хронологический сборник, где они разделены одною секундой, нужною чтецу для перехода от произведения к произведению, почему и кажутся как бы слитными, да в добавок и написаны-то они двумя разными Пушкиными, не имеющими ничего общего между собою. Один из них, именно тот,

которого силится воскресить г. Ефремов, нам вовсе чужд и носит известную физиономию своего времени, общую его сверстникам, как выдающимся из толпы, так и тем, которые ничем не отметили своего существования на земле. Только другой Пушкин, тот, который признан единогласно воспитателем русского общества, мощным агентом его развития и объяснителем духовных сил, присущих народу, только этот нам и нужен, а о его двойнике нам достаточно общей характеристики, нескольких сохранившихся о нем преданий да отметки тех нравственных черт и особенностей, которые составляли уже общее достояние обоих видов Пушкина. Важное поучение для современников наших, конечно, несет с собою и этот второй, побочный, так сказать, тип нашего поэта, если его изучить с надлежащей политической и этической точки зрения; но ценить его беседу наравне с тою, которая исходила от настоящего, великого Пушкина, мы уже не можем, а потому и ставить их рядом кажется нам более чем ошибкой. Кто же, кроме детей, будет заниматься тенью, бросаемою человеком, когда перед ним стоит сам человек, и при том какой! В предисловии к своему изданию г. Ефремов выражает сожаление, что не имел в руках рукописей поэта, но мы готовы признать это обстоятельство за большое счастье для русской публики и литературы. Что бы случилось с нравственным образом Пушкина, если бы все откровения, содержащиеся в рукописях, достигли до нас в комментариях г. Ефремова и через посредство того способа относиться к предметам исследования, который им усвоен! Мы получили бы, конечно, не изображение Пушкина, а кое-что другое, под его именем...

Крайнее непонимание поэта, за издание которого он принял, г. Ефремов обнаружил с особою силой в ужасе и негодовании по случаю двойных числовых пометок, встречающихся на рукописях и стихотворениях Пушкина. Он пишет горячую диатрибу против старого издания 1855 года, указавшего несколько примеров таких двойственных пометок, и обвиняет за них его редактора, не досмотревшего явных противоречий в их цифрах. Не довольствуясь помещением диатрибы в своем издании (т. I, стр. 509), г. Ефремов пересылает ее еще в «Русскую Старину», где она любезно принимается составителем биографического очерка А.С. Пушкина, который отводит ей место в одном из своих примечаний («Русская Старина» 1880, июнь, стр. 320). Но этот монолог г. Ефремова, на обличительную силу которого он так надеялся, сослужил ему предательскую службу: он разоблачил его собственное непонимание особенностей творческой производительности Пушкина и подтвердил с непрекаемою оче-

видностью, что для настоящего понимания мало одного собирания и знания библиографических мелочей, ограниченных, так сказать, произведений русской словесности, примет и внешнего вида ее главных памятников и проч. Далее этого не идет редактор нового сборника. Не говоря уже о странности предположения, что редактор старого издания 1855 года мог выдумать пометки Пушкина, им приводимые, на что намекают иронические слова г. Ефремова: «в одних и тех же рукописях он вычитал разные указания» («Русская Старина», *ib.*), — но как было не остановиться перед тем фактом, что этот редактор постоянно и с необъяснимым упорством проводит несходные числовые пометки Пушкина, которые иногда расходятся между собою только двумя-тремя днями? Так, при «Полтаве» свидетельствуется о двух пушкинских пометках — 27-е и 29-е октября, при стихотворении «Клеветникам России» — 2-е и 5-е августа, при пьесе «Расставание» — 5-е и 8-е октября и т. д.; чем же может объясниться эта настойчивость в показаниях? Ошибаться сплошь, непрерывно вряд ли возможно и самому ветреному человеку. Может статься, что г. Ефремов и не написал бы своей патетической диатрибы, если бы принял в соображение общеизвестный, много раз расследованный и утвержденный факт, что Пушкин достаивал числовыми пометками все случаи и обстоятельства, сопровождавшие какой-либо из его трудов. Он отмечал начало почти каждого своего создания и конец его, также как начало и конец его переписки набело, весьма часто и поправку, сделанную в нем, иногда даже время первой мысли о произведении. Поэт, видимо, имел намерение сберечь про себя и для дальнейших целей своих память о малейших подробностях своей творческой деятельности, подобно тому, как для автобиографии он записывал каждую свою мысль без разбора, о чем уже было упомянуто. Знай это г. Ефремов, он не удивился бы, встретив разные числовые пометки, которые и не могли быть схожи, относясь к различным моментам и случаям производства стихотворений, и не пришел бы в забавное негодование. Гораздо более прав на удивление заслуживает то, что г. Ефремов, пользовавшийся широко старым изданием 1855 года для существенной, объяснительной части своих примечаний, не пожелал на этот раз обратиться к нему за получением недостающих сведений о литературных приемах и привычках Пушкина. Там он нашел бы указание, что существуют еще и загадочные числовые пометки Пушкина, смысл которых очень хорошо понимал их автор, но ключ к которым теперь потерян. Вместо того он указывает на дватри типографских промаха старого издания, на две-три явных опис-

ки, что могло бы заслужить еще благодарность читателей, если бы сделано было не яростно и в более скромном тоне, который приличествовал человеку, представившему и со своей стороны образцы ошибок, вырезок и издательских грехов, весьма замечательные.

Не можем покинуть этого странного недоразумения, не указав, еще одной характеристической черты в полемике, поднятой г. Ефремовым. Пересматривая его примечания, мы набрали на курьез между многими другими, который заслуживает сохранения. Оказывается, что г. Ефремов в собственных своих материалах, в документах, находившихся у него под руками, уже встретил различные числовые пометки Пушкина, несколько однако же не успокоившие его полемики, и не только что встретил, но и сам засвидетельствовал. Так, стихотворение Пушкина «Зачем безвременную скуку» он сопровождает следующим примечанием: «явилось в печати... только в 1827, в «Московском Вестнике», № 2, и перепечатано в издании 1829, где отнесено самим автором к 1821 году... Между тем, в бывшую Чертковскую библиотеку поступил собственноручный пушкинский оригинал этого стихотворения, тоже без заглавия, но с пометкою: 1-го ноября 1826 г. Москва» (т. I, издание Исакова, стр. 557). Кажется, свидетельство достаточно ясное о том, что Пушкин делал отметки на стихотворениях по соображениям, конечно, весьма важным и основательным для него, но уже темным и необъяснимым для нас. Можно было думать, что, имея перед глазами такой пример, сам г. Ефремов изменит свой взгляд на явление, поминутно встречаемое в рукописях поэта, и постарается вникнуть в него, исправив прежние ошибочные заключения. Вышло наоборот: заключения остались не тронутыми, рядом с фактами, их опровергающими. Так, увидав, что старое издание перенесло известную «Сцену из Фауста» в 1826 год из 1825, под которым она стояла в пушкинском издании 1829 года, г. Ефремов делает строгое внушение редактору за этот перенос, прибавляя: «Не мог же Пушкин в начале 1829 года уже забыть: в 1825 или в 1826 году писал он эту сцену?» (т. I, стр. 414). Очень хорошо! Но как же объяснить после того, что через несколько страниц сам же г. Ефремов указывает на пример забывчивости Пушкина, который пьесу свою «Зачем безвременную скуку» (см. выше) отнес один раз к 1821, а другой к 1826 году. Все подобные несообразности имеют одну исходную точку у г. Ефремова: он ведет кропотливые протоколы всему, что видит его глаз, и уже не дает себе труда проверить виденное мыслью, понять общий смысл фактов и поискать общего их источника в тех случаях, когда они выступают, так сказать, толпой

и со всех сторон. При более внимательном отношении к своему предмету г. Ефремов убедился бы, что о забывчивости Пушкина или неверности его переписчиков не может быть тут и речи, а что есть очень важный вопрос для обсуждения. За разницей числовых пометок поэта скрывается всегда дельная, серьезная причина, а иногда загадочное число заключает в себе весьма любопытный творческий или биографический секрет, открытие которого именно и составляет прямую задачу настоящего исследователя<sup>1</sup>.

Извиняемся перед читателями нашими за то, что принуждены были ввести его, так сказать, в лабораторию г. Ефремова, где он занимается выплавкой и выковкой всех тех приговоров, догадок, заключений и обвинений, образцы которых здесь представлены. Нелегко было и самому руководителю пробираться в этом хаотическом смешении дельного и не дельного до истины, до настоящего смысла и значения разбираемых предлогов. Много еще замечательных в своем роде проявлений редакторского самоуправства приходилось при этом оставить не тронутыми на тех местах, где они стоят.

В заключение скажем, что издание г. Исакова имеет весьма почетную сторону: оно может считаться своего рода знаменем времени в том смысле, что вполне обнаруживает сущность направления, принятого одною и довольно значительною частью наших деятелей на почве исторической и биографической литературы. Это цветок, выросший в школе тех археологов и изыскателей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов, сличения разностей между текстами, перечета отметок, какие существуют на различных актах, и тому подобными предварительными работами, считая их за самую науку исторических и литературных исследований и устраняя, как излишество, критику и оценку приобретенных фактов по существу. Люди эти, сделавшие себе призвание из подбора остатков недавнего прошлого нашего, из механической сортировки крупниц, упавших со стола об-

<sup>1</sup> Поиски за одною точностью, не осмысленною идеей и преследующею мелкие факты, приводят г. Ефремова по временам к комическим выходкам. Таково примечание к лицейскому посланию Пушкина 1815 года «Баронессе М.А. Дельвиг», которой тогда было восемь лет: «Напечатано», говорит он, — «в VII томе издания г. Анненкова, и хотя под стихами написано время их сочинения, но вероятно, или поэт ошибся, или год прочитан неверно, потому что в первом же стихе говорится: «вам восемь лет, а мне семнадцать было». Пушкин родился 26 мая 1799 г. — следовательно, 17 лет ему пробило не раньше мая 1816 г.» (т. I, стр. 518). Совершенно справедливо! Поэт ошибся, не справившись, когда писал пьесу, предварительно с метрическим своим свидетельством; но стоило ли вооружаться справками?

щественных наших деятелей, конечно, имеют право на уважение; но как бы изменилось достоинство их трудов, если бы они не питали глубокого презрения ко всяким попыткам обобщать факты, извлекать из них определение, основываясь на внутреннем их содержании, достигать положительных выводов и заключений, опираясь на мысль, полученную из сущности и духа самих собранных ими материалов! Отвращение, обнаруживаемое искателями этого рода ко всякому порядку идей и размышлений, непреодолимо. Оно преимущественно возникает из того мелкого резонерствующего скептицизма, который признает право на достоверность только за голым фактом, взятым одиноко, а право на звание точного исторического свидетельства — только за подробным описанием формы явления.

Издание сочинений Пушкина, г. Исакова, как в своем составе, так и в заметках своего редактора, есть самое верное и пышное выражение качеств и недостатков направления, о котором идет речь. При полном отсутствии первых, необходимейших условий осмысленного издательского плана оно отличается таким обилием всяческих справок, указаний, сведений, что будущим издателям Пушкина, которые — полагать должно — не замедлят явиться, придется совещаться с ним не один раз. Правда, что им будет предстоять нелегкий труд поправлять в заметках г. Ефремова преднамеренные увлечения и ошибки и пробиваться до зерна его указаний сквозь густой, удушливый полемический туман, в который он облек свои комментарии. Но самым трудным для новых предпринимателей будет, конечно, необходимость возратить сборнику сочинений Пушкина приличный и серьезный характер, потерянный им в теперешнем издании. При соблюдении этих условий заметки последнего могут очень пригодиться и войти в состав дельной классической книги о Пушкине, которая исполнит свое назначение — служить одинаково как юношеству, так и возмужалым людям источником чистых впечатлений и невозмутимого умственного и эстетического наслаждения.

1880 год.

## IV.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ А.С. ПУШКИНА.

## Планы социального романа и фантастической драмы.

Посмертное наследство Пушкина, оставленное им в своих тетрадях в виде отрывков и набросков, представляет большую ценность. Вся черновая подготовительная работа Пушкина, его программы будущих поэм, романов, драм, трактатов, первые проблески идей и образов, развитых впоследствии до знакомой публике художественной стройности и выразительности, все это вместе образует такой богатый архив материалов для повести не только о литературной, но и о жизненной, общественной деятельности поэта, что разработка его займет, вероятно, много умов и рук. Сведения и данные, которые можно извлечь из этого архива, не уступают в важности тем, которые получают при изучении его законченных и опубликованных созданий. На отрывках и набросках Пушкина лежит та же печать его таланта и то же отражение его задушевной мысли, как и на последних. Программы его не имеют ничего общего с теми брьюльонами, первоначальными очерками, которые встречаются у многих писателей и которые становятся немыми, бесполезными, а иногда и безобразными свидетелями человеческого труда, пока не пояснены и не поправлены самим произведением, о мучительном рождении которого возвещают. Брьюльоны и остатки Пушкина в большинстве случаев сами по себе полные картины, хотя, конечно, все образы их представляются еще в виде теней, бескровных призраков и окружены туманом, из которого уже никогда и не выйдут за безвозвратную отлучкой художника, их начертившего. Брьюльоны или программы Пушкина суть тоже создания своего рода, к какому бы отделу литературы ни относились, имеют ли в виду художественную задачу, или исторический трактат. Пример творческой программы первого рода дан Пушкиным в известных «Сценах из рыцарских времен», о которых будем еще много говорить. Это — полное драматическое представление из средневекового европейского быта, но вместе с тем это только «план», как сцены были и озаглавлены самим автором; пример второго рода творческой программы с целью произведения историко-политического трактата мы имели случай представить в статье «Об-

щественные идеалы Пушкина»<sup>1</sup>. Теперь к ряду уже известных литературных проектов Пушкина прибавляем два новые: программу современного романа из Александровской эпохи (20-х годов) и короткую программу драмы, основной мотив которой взят из католической или, лучше, папской легенды о епископе-женщине, воцарившемся в Риме. Обе программы носят на себе тот, же осмысленный и выразительный отблеск глубокой и ясной мысли, какой присущ большинству программ Пушкина, о чем было говорено.

Начинаем с романа. Время появления у Пушкина первой мысли о романе с лицами и завязкой из прошлого царствования, которое видело и начатки собственной его поэтической и общественной деятельности, определить довольно трудно. Известно только, что пережитая им Александровская эпоха издавна занимала его воображение. Еще ранее 1825 он уже мечтал сделаться летописцем последних годов этой эпохи и начал записки о странном и любопытном времени, в котором рядом шли и процветали самые противоположные направления, люди военных поселений и люди библейского общества, грубые нравы и инстинкты обок с конституционными идеями и т.д. После истребления этих записок почти вслед за их начатием, в том же 1825 году, Пушкин перенес всю свою нежность на «Евгения Онегина», в котором думал сохранить бытовые данные и характерные черты городской и деревенской жизни первой четверти нашего столетия, оставляя до другого более удобного времени намерение заняться изображением самих лиц, близких или дальних знакомцев своей молодости. Пока существовал «Евгений Онегин», этот неразлучный спутник его вояжей и кабинетных трудов, побывавший с ним также точно в глуши провинции, как и за чертой государства, в Армении и Турции, сопровождавший поэта повсюду, где он сам являлся, мысль о романе из эпохи двадцатых годов находила своего рода замену в любимой поэме, которая поддерживала умственные его связи со старым обществом, все более и более отходившим в область преданий, все более и более изменявшимся на его глазах. Как известно, мы не имеем полной поэмы: множество отрывков из разных ее глав и остатки от целой пропавшей ее главы («Путешествие Онегина») показывают однако же до очевидности, что стихотворный рассказ этот, развиваясь с возрастающим художественным блеском и интересом, служил Пушкину вместе с тем и складочным местом для суж-

---

<sup>1</sup> Напечатана в III-й книге «Воспоминаний и критических очерков» П.В. Анненкова.

дений, афоризмов, заметок о современных явлениях, большею частью очень метких и особенно важных по биографическому их значению. Призвание поэмы с самого начала было двойное — обрисовать общество и высказать по поводу его типов критическую мысль автора. Образчиков этого совместного участия творчества и посторонней ему думы довольно много. Приводим еще один. Он касается явления, уже не нового и во времена поэта, а затем повторившегося много раз позднее. Усталый, надорванный, праздный Онегин становится у него внезапно народолюбцем:

Наскуча или слыть Мельмотом,  
Иль маской щеголять другой,  
Проспулся раз он патриотом  
В Hôtel de Londres, что на Морской.  
Россия, Русь мгновенно  
Ему понравились отменно.  
И решено: уж он влюблен,  
Россией только бредит он!  
Уж он Европу ненавидит  
С ее логической душой,  
С ее разумной суетой!  
Он едет, он увидит  
Святую Русь, ее поля,  
Селенья, степи и моря!

2 октября (1830?).

И сколько таких образчиков может открыться еще впоследствии! Но с 1832 года связи Пушкина с «Онегиным» порываются. В этом году он отдал в печать последнюю главу поэмы и остался, так сказать, одиноким. Ради художественных созданий, возникших непрерывно с этой эпохи под его пером, не наполняли еще пустоты, образовавшейся после «Онегина». Поэт потерял в нем постоянного собеседника. «Онегин» унес у него благовидный предлог делиться с публикой внутренним своим миром, заметками, вынесенными из жизненного опыта, мыслями, возбужденными явлениями текущей минуты и воспоминаниями своего прошлого. Тяжело и грустно расставался Пушкин со своим другом; на последней VIII-й главе романа лежит несомненно меланхолический, трогательный оттенок сердечного прощания. Она и начинается нежным обращением к Царскосельскому лицу, где поэт услышал впервые призыв музы и пророчество о своем предназначении на Руси, а кончается скорбным воспоминанием о героине романа, о людях и друзьях, некогда встре-

чавших первую главу поэмы (явилась в 1825 году). Пушкин так сильно чувствовал отсутствие «Онегина», что думал, как известно, возвратиться к нему уже и после того, как полное, законченное издание поэмы в 1833 году завершило все расчеты с ним и прекратило все старые его отношения к труду. Конечно, мысль была оставлена...

Вернуться снова к труду своей молодости поэт уже не мог. Другие задачи и совсем иное настроение художника требовали уже и новых форм создания. Пушкин всецело предался мысли испытывать реальный роман в прозе, в котором поэтический элемент играл бы ту же роль, какую он играет в «Wahrheit und Dichtung» Гете, например, где соединение исторических данных с вымыслом и фантазией так крепко сплочено, что оно еще не поддавалось и до сих пор ношу критического анализа силившегося много раз разделить это единство на составные его части. Нам осталось от Пушкина много повествовательных отрывков, романов и рассказов, порванных на первых же главах своих. Если все эти попытки, обещавшие по тону и приемам своим вырасти в шедевры эпического искусства, были им брошены и забыты то единственное объяснение такому пренебрежению заключается, по нашему мнению, в том обстоятельстве, что они не достаточно были широки и не обхватывали область явлений русской жизни в той полноте, какая нужна была поэту. Он мечтал с 1833 года о романе, который отразил бы целиком многообразные стороны нашего общества за какую-либо часть его исторического существования, не исключая из картины и низших слоев, на которых это общество покоилось. Всего более интересовало его и всего более знакомо ему было общество последних годов прошлого царствования, да он обладал и массой хороших материалов для точного изображения его в художественно-реальной картине: материалы эти слагались из его собственных воспоминаний, из сношений и связей его с действующими лицами того времени, из рассказов бывалых людей, им слышанных, и из личного знакомства со всеми увлечениями, похождениями и волнениями тогдашнего молодого поколения. В 1835 году явился известный роман Бульвера: «Pelham or the adventures of a gentleman, by Edward Bulver-Lytton» (Пельгам или приключения одного благородного господина, соч. Е. Бульвера-Лейтона), имевший большой успех в английской и континентальной публике вообще за ввод в рамку романа очень схожих портретов с важнейших членов английской аристократии и английского парламента, что было тогда новостью, и за характер главного героя — Пельгама, добываю-

щего себе влиятельное место в обществе и правительстве после того, как перебивал во множестве закоулков блестящего светского и грубого уличного порока и разврата и вынес из них знание подкладки, оборотной стороны общественного строя и большую практическую опытность. О романе Бульвера будем еще говорить впоследствии. Пушкин обратил на него свое внимание, заинтересованный его интригой, которая напоминала ему многое из того, что он сам видел на веку своем. Он решился, по следам Бульвера, рассказать кое-что о Пельгамах русского происхождения и воспитания. Плодом этой мысли были программы романа, которые теперь представляем читателям. Нужно ли прибавлять, что он не взял ни одной черты из английского произведения для своего плана, и оно остается только в значении внешнего толчка, данного фантазии поэта? Пушкин скоро перестал и называть своего героя русским Пельгамом, как было начал, перекрестив его просто в нашего доморожденного Пельмова.

Четыре раза приступал Пушкин к изложению на бумаге плана будущего распорядка и действия задуманного им романа, и плодом этого были четыре последовательные программы, расширившие каждая все более и более рамки предприятия. Из них две первые не совсем безызвестны нашей читающей публике: они были напечатаны в «Библиографических Записках» 1859 года (№№ 5 и 6) с цензурного одобрения и с незначительными пропусками, которые здесь восстанавливаем. Для понимания основной идеи романа мы принуждены были повторить их в этом отчете. Две последние, еще не опубликованные и, кажется нам, наиболее важные, освещают многое из того, что едва намечено первыми, и уже помогают различить цели и намерения автора с некоторою ясностью и определенностью.

Вот первые два проекта повести, приведенные «Библиографическими Записками».

## I.

«Русский Пелам — сын барина, воспитан французами. Отец его frivole в русском роде. Двоюродный брат его<sup>1</sup>... Пелам в свете — театр, литераторы, картежники. Он свидетель бесчестия одного молодого человека. Его дружба с Ф. Ор. Он помогает ему увести

---

<sup>1</sup> Здесь неразборчивая иностранная фраза: она должна содержать намек на то, что этот двоюродный брат есть, как оказывается из последующих программ, побочный сын кн. Х... Это следует помнить читателю, для понимания дальнейшего развития программы.

любовницу, отказывается от игры фальшивой. Брат [то есть, вышеупомянутый двоюродный брат] в игре получает пощечину; дуэль, брат его струсил.

Ф. Ор. увозит девушку; ее несчастное положение — бедность — разврат мужа; она влюбляется в Пелама — связь ее с ним — подозрения мужа. Смерть Ф. Ор.

Пелам влюбляется в женщину высшего общества. Пелам в большом обществе, любовь в большом свете. (Пелам едет в — ). Отец его умирает. Пелам в деревне (эпизод жены Ф. Ор.). Соседи, жизнь русских помещиков. Слышит о свадьбе двоюродного брата, едет в Петербург. Брат его делается ему врагом, чернит его в глазах правительства. Он выслан из города (Ф. Ор. доходит до разбойничества — Пелам son confident). Он свидетель нападения [NB: а не наказания, как ошибочно напечатано в «Библиографических Записках»]. Он оправдан самим Ф. Ор.»

Остановимся на этой первой программе. Итак, вот главные черты ее, которые в следующих программах будут только полнеть, крепнуть и резко обозначаться. В родном доме Пелам уже на первых порах встречается с загадкой, с так называемым двоюродным братом своим, мальчиком сомнительного происхождения. Затем, при выходе в свет он тотчас же окружен всею золотою молодежью того времени, в числе которой почетное место занимают и картежники. С одним из них, Ф. Ор., он состоит на дружеской ноге и хотя отказывается поступить в сословие шулеров, но помогает ему похитить девушку и становится его поверенным даже и тогда, когда тот в водовороте удалого кутежа доходит до разбоя. Любовь к девушке высшего общества, куда Пелам тоже попадает, неожиданно и скоро кончается отъездом в деревню: Пелама высылают из города по делу Ф. Ор. В деревне он хоронит отца, ведет жизнь помещика того времени, завязывает связи с соседями и с дворянкой и проч. Двоюродный брат его, наоборот, степенно женится, становится врагом Пелама, доносит на брата, который между тем оправдался от наветов его и, вероятно, опять является в город, о чем программа однако ж не упоминает, довольствуясь обозначением фактов и упуская вообще их распределение и порядок их постепенного возникновения.

Таков первый набросок плана. При втором приступе к нему Пушкин, сохраняя главную основу романа неприкосновенно, вводит в него новые подробности, которые отчасти дополняют, а отчасти даже и изменяют физиономию первоначальной темы. Связь между обеими программами заключается преимущественно в общей им ис-

тории походов какого-то светского кутилы, обозначаемого буквами Ф. Ор. Скажем теперь же, что это недописанное имя не должно давать повода к каким-либо догадкам о лице, под ним скрывающимся, потому что в сущности ни до кого не относится. Под ним собраны у Пушкина подвиги и черты множества светских кутил, которыми так обилён был век, и которые, расточая безоглядно свою жизнь и свои силы, нередко доходили до уголовных преступлений. Старожилы еще помнят, как долго ходили по Москве толки об убийстве, совершенном двумя выдающимися светскими молодыми членами высшего общества Алябьевым и Шатиловым, на большой дороге и над несчастным игроком, который, проиграв им значительную сумму денег, хотел избавиться от этого долга чести бегством из столицы...

## II.

«Пелам выходит в большой свет (влюбляется) и, наскуча им, вдается в дурное общество.

В обществе актрис и литераторов встречает Ф. Ор и с ним дружится, отказывается от игры на верное, помогает ему увести девушку.

Продолжает свою беспутную жизнь. Связь его с танцовкой на счет гр. З\*.

Дуэль Ф. Ор. с двоюродным братом Пелама.

(Несчастливая жизнь жены Ф. Ор. — Ор. доходит до нищеты и до разбойничества. Пелам узнает обо всем — укрывает его у себя)<sup>1</sup>.

Пелам влюбляется. Отец у него умирает. Перемена его. Он ссорится с танцовкой.

Он сватается — ему отказывают.

Он едет в деревню.

Разбой —

Донос —

Суд —

Тайный неприятель —

Письмо к брату, ответ Тартюфа.

Узнает о свадьбе брата.

Отчаяние.

<sup>1</sup> Круглые скобки поставлены Пушкиным и должны были напоминать, что эпизодическая подробность эта относится к позднейшей деревенской жизни Пелама.

Он (оправдан) освобожден по покровительству Ал. Ор. и выехал из города.

Болезнь душевная. — Сплетни света. — Уединенная жизнь. — Ф. Ор. пойман в разбое, Пел. оправдан — получает позволение ехать в Пб.

### Заключение.

#### «Характеры:

Отец и его любовница. Двоюрод. брат [NB: здесь фраза зачеркнута и сверху надписано: выб...]... Ф. Ор. — Ал. Ор. — Кочубей, дочь его. — Кн. Шаховской, Ежова. — Истомина, Гриб., Зав. — Дом Всевол. [NB: сверху приписано. «Всевол. и О. », то есть, Овощникова]. — Котляревский. — Мордвинов, его общество. — Хрущов. — Общество умных: И. Долг. [то есть, Илья Долгоруков], С. Труб. [то есть, Сергей Трубецкой], Ник. Мур. [то-есть, Никита Муравьев] etc.

Служба, юнкер гв., офицер гв., немец начальник, отставка, долги, Неелов, Шишкин.

Похороны отца etc. Привычка к роскоши. Обеды, литераторы. — Ив. Козлов.

Большое общество. Семья Пашковых etc.

#### Игроки:

Ор. — Павлов».

[NB: все подчеркнутые слова и круглые скобки согласны с оригиналом].

Из этой второй программы мы узнаем внутренний распорядок, которому автор намеревается следовать в романе. Русский Пелам, после всех своих походов в столице и после того, как девушка большого света (см. предыдущую программу) отказывает ему в руке, остепеняется — не надолго — и уезжает в деревню принимать дела после умершего отца. К этому именно пребыванию героя в деревне автор приурочивает эпизод о разбое Ф. Ор., последовавшем затем доносе и арестовании Пелама, участие которого в преступлении значительно ослабляется: он только скрыл у себя убийцу, а не был его поверенным при совершении кровавого дела. Вероятно, этому эпизоду деревенского быта предшествовал еще другой, прежде намеренный автором, о связи Пелама со страдальцей, женой Ф. Ор. Покамест Пелам томился в остроге, куда приведен был всего более наговорами двоюродного брата, сделавшегося тайным заклятым врагом его, последний пользуется еще случаем, чтобы присвататься к невесте заключенного и жениться на ней. Пелам успевает однако же

оправдаться, выпущен из тюрьмы, благодаря особенно содействию Ал. Ор., и получает дозволение ехать в Петербург.

Программа тут не кончается. Существенная часть, отличающая ее от всех других, заключается в том отделе ее, который носит заглавие «характеры» и сплошь состоит из одних имен литераторов и лиц, замечательных по своему влиянию в обществе или по репутации, приобретенной на разных поприщах деятельности различными способами. Отдел этот ясно намекает на мысль Пушкина провести под покровом романа собственные свои воспоминания и суждения о том времени, в которое поместил свой рассказ, обнаруживает намерение воскресить под предлогом описания жизненной обстановки Пелама собственные свои записки, некогда им истребленные. Тут всего более занимательны и любопытны были бы мнения и воззрения человека 1818 — 1825 годов на вожаков, на признанных передовых деятелей эпохи и на те странные личности, которые добывали себе громкую известность энергией беспутства и порока. Всякий согласится что под пером Пушкина отдел вырос бы в документ значительной важности для историка, в страничку из художественного исследования русской культуры, понятий, образа мыслей и жизни тогдашнего общества. Отдел этот, по своему реальному характеру, как галерея портретов с натуры, должен был составлять, по всем вероятностям только подробность, фон или грунт пушкинского произведения; по крайней мере мастера повествовательного рода обыкновенно предпочитают видеть лиц с историческими именами в качестве свидетелей рассказываемого происшествия, а не пособников и зачинщиков его. Что касается до настоящих героев романа, тех, которые у Пушкина создают его интригу и деятельно участвуют в развитии событий, то здесь у места будет сказать, что эти герои вымышленные, хоть и очень близко напоминают собою черты некоторых корифеев тогдашнего светского быта; в самых программах видны слои приспособления их к рассказу, работы авторской фантазии за ними, что значительно подрывает веру в них, как точных копий с какого-либо действительно существовавшего оригинала. Вообще близость к вымыслу, опасное соседство с чистым творчеством мешает подобным полуисторическим и полуизобретенным лицам служить пояснением или подтверждением какой-либо частной жизни или биографии, что однако же нисколько не препятствует им иметь глубокое значение и содержание, как представителям известного периода в развитии общества. Предостережение наше не покажется лишним особенно в виду сокращенных имен и прозваний героев пуш-

кинского романа, который возбуждает охоту отыскивать под ними имена и прозвания известных деятелей прошлой эпохи, знакомых нам по преданиям и слухам. Всякая такая работа подбирания фактов и свидетельств для оправдания наших догадок, подозрений и гипотез была бы бесплодной потерей времени. Причина ясна. Писатель, заслуживающий это название, никогда не имеет дела целиком с частным лицом или целиком с подробностями его жизни; от частного лица он отбирает только черту, общую ему с современниками, а от подробностей его жизни — только те, которые могут быть обработаны для задуманной картины, при чем все остальные биографические данные человека изменяются и искажаются писателем по нужде производства до неузнаваемости. Художественные романы из современной нам или ближайшей к ней эпохи иначе и не пишутся. Имена героев пушкинского романа, скрытые под начальными буквами их фамилий, ни к кому отдельно применяться не могут и далеки от намерения разоблачать чьи-либо семейные тайны. Собственно они назначаемы были служить автору памятными значками для создания вполне независимых и свободных типов, когда наступит нужная для того минута, и исполняют в программах его ту самую роль, какую играет, например, отдельный музыкальный мотив, вызывающий в уме всю пьесу, или обломок стиха, напоминающий мгновенно целое стихотворение, от которого он отпал.

Переходя снова к программам, мы приводим две последние и увидим, что они уже распадутся теперь на три отдельных плана для трех историй, тесно связанных между собою: на историю Ф. Ор., историю Пельмова (таково новое имя героя) и на историю его брата, с добавлением истории еще одного петербургского щеголя З\*, «un élégant, Zav.».

### III.

«История Ф. Ор. Un mauvais sujet, des maitresses, des dettes [то есть, пустой малый с любовницами и долгами]. Он влюбляется в бедную ветреную девушку, увозит ее; (первые года роскошь) впадает в бедность, cherche des distractions chez ses premières maitresses, devient escroc et duelliste [то есть, ищет утешения у старых своих любовниц, становится мошенником и дуэлистом], доходит до разбойничества, зарезывает Щепочкина, застреливается (или исчезает).

История Пельмова. Он знакомится с Ф. Ор. Dans la mauvaise société [то есть, в дурном обществе], помогает ему увезти девушку,

отказывается от фальшивой игры, на дуэли секундантом у него — узнает от него об убийстве Щ., devient l'exécuteur testamentaire de Ф. Ор. [то есть, делается душеприказчиком Ф. Ор.], попадает в подозрение (он дает ломбардный билет Щеп.)<sup>1</sup>. Обращается к Ал. Ор. из крепости.

История брата его. Он зарывается в канцелярии, отрекается от своей матери, делается врагом Пельмову, выходит в люди (в секретари Чуполея), преследует тайно своего брата, сватается за его невесту — и женится на ней.

Мать его (княг. Х.) расточает деньги Все\* для Норового, которого обыгрывает шайка Ф. Ор. и который получает пощечину, etc.

Нат. К\* — вступает с Пельмовым в переписку, предостерегает его, etc.

Une danseuse [танцовка]. Пельмов с нею знакомится, находит у ней Ф. Ор.

Пельмов воспитан у отца 7-ю французами, немц. швед., англич. Отец им не занимается, но любит. Ссорится с ним за Норового. Отец назначает ему 1,000 в год и выгоняет его. Умирает в нищете — сын его хоронит.

Бат. [NB: по зачеркнутому «Пельмов» — и вероятно, Батурин — стихотворец] pour vivre traduit des vaudevilles [то есть, для пропитания себя переводит водевили] — Шах., Еж... etc. etc».

Не заключаю никакой отмены против предшествующих программ, — разве назвать отменой перенос сцены разбойничества и того обстоятельства, что Пельмов уже содержится теперь в крепости, — настоящая программа отличается одним дополнением. Все лица в ней получили имена, большею частью вытянутые из настоящих русских фамилий, и два раза Пушкин оставил не переделанными прямые имена лиц, с которых предстояло снять портреты. Светская девушка — предмет страсти Пельмова — называется Нат. К\*; мать двоюродного брата, от которой он отрекается, — княгиня Х. Но повторяем: все они, ясно обозначенные или слегка намеченные, служили бы только материалом для образов и фигур, знакомых всему свету, но с которыми никто не встречался, словом — для типов.

Мы имеем даже и пример такой переработки частных явлений в картины с общим значением. Одна часть этой самой программы и

<sup>1</sup> Фраза в скобках написана поверх зачеркнутой: «он носит часы Щеп.»; через строчку опять целая фраза, тоже зачеркнутая: «уезжает в деревню, смерть отца его, эпизод крепостной любви».

соответствующие ей части прежних получили у Пушкина нечто похожее на начало осуществления в последовательном рассказе. Мы разумеем те два отрывка, которые впервые даны были посмертным изданием сочинений Пушкина, под общим заглавием «Старинные русские странности». Отрывки носят еще и отдельные оглавления, а именно, первый — «Отрывки биографии Н\*», второй — «Записки М\*», но оба составляют одно целое и писаны по указаниям наших программ, черты которых сохраняют вполне, сообщая им вместе с тем уже широкое значение бытовых картин. Первый отрывок рисует в крупных чертах причуды богатого самодура-помещика, вояжирующего по России с волторщиком из иностранцев впереди и с громадным обозом за собою, состоявшим из учителей, мадам, дураков, карлов, борзых собак, псарей, роговой музыки, провизии, мебели, кухни и проч. Он и должен был разориться и умереть в нищете, как говорят и программы. Второй отрывок еще в большей мере следует внушениям их, чем первый. В нем изображаются мать ребенка Пельмова, водворение в доме посторонней женщины, видной бабы уже не первой молодости, которая тут называется Анной Петровной Вирлацкой (княгиня Х... программы), появление там же расшаркивающегося мальчика в красной курточке с манжетами, которого приказывают мальчику Пельмову называть братцем (двоюродный брат, Наградский четвертой программы), затем ссоры, драки, шалости между ними, которые заставляют Вирлацкую уговорить отца, чтобы он послал Пельмова по пятнадцатому году за границу в университет, для окончательного образования, что и делается. Отсылаем читателя к отрывкам, прибавляя к этому, что на четырех-пяти страничках, занимаемых ими обыкновенно в изданиях, Пушкин высказал так много свойственного ему спокойного мастерства и творчества, что каждый читатель, который пробежит их еще раз после всего сказанного теперь, легко поймет, какую утрату понесла русская публика от не сбывшегося намерения поэта написать социальный роман в том же духе и с теми же художественными приемами. Между прочим, нельзя забыть человека, рассказы которого о своей родне и о фамильных преданиях своей семьи так много занимали Пушкина, почтенного П.В. Нащокина. Оба отрывка, о которых говорим, передают множество подробностей, сообщенных поэту этим неизменным, любимым другом его, как в том были убеждены все, впервые открывшие их в бумагах Пушкина. Не даром и поэт постоянно, в продолжение многих лет, начиная с 1822 года, письменно убеждал скромного друга изложить на бумаге свои воспоминания, не даром также просижи-

вал с ним, когда бывал в Москве, целые сутки, слушая его исповеди, и даже предлагал себя, из желания помочь литературной неопытности собеседника, а отчасти его лености, в аккуратного писца, который под его диктовку станет передавать связно его отрывочные воспоминания. Так казались они ему нужны и любопытны!

Четвертая, дополнительная программа, следующая теперь, свидетельствует однако же, что, по мысли Пушкина роман не следовал бы рабски за одною домашнею историей, выбранною для его завязки, а собрал бы вокруг нее много других таких же домашних историй из других кругов общества и был бы сводом преданий, полученных с различных сторон. Программа вводит новую личность — петербургского дэнди Зав\*, и Пушкин занимается ею с тою же подробностью, как прежде занимался личностью удалого молодца, которая проходит через все три предшествующие программы. Иногда даже может показаться, следя за обоими героями, что в конце концов автор имел намерение передать этой новой, элегантной личности ту роль, которую прежде играл ее антипод, бешеный и грубоватый Ф. Ор. Но так как предположение это встречает большое затруднение в невозможности допустить перевод своеобразных подвигов последнего на более изящное и мягкое лицо, то приходится думать, что новая личность назначалась у Пушкина для одновременного представления двух разных типов одного и того же разгула, порожденных одною и тою же общественною средой. Словно для большего выражения этой разницы значительная часть программы изложена по-французски.

#### IV<sup>1</sup>.

«I. Воспитание. Смерть матери. Явление кн. Х... с Наградским; мои ошибки с ним, его сплетни. Гувернеры. — *Жизнь отца. Il reçoit bonne compagnie en fait d'hommes et mauvaise en fait de femmes* [то есть, он принимает из мужчин порядочных людей, а женщин плохой репутации]. Я выхожу в службу и свет.

II. Светская жизнь петербургская. Получаю часть моей матери; балы, скука большого света, происходящая от бранчивости женщин; по примеру молодежи удаляется в холостую компанию, дружится с Зав. (Ф. Ор.)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Программа уже разделена на главы, из которых половина этой первой уже получила и отделку, как выше показано.

<sup>2</sup> Имя прежнего героя, поставленное в скобках, или показывает, что Пельмов встретил его у Зав., или что автор думал заменить его лицом последнего.

III. *Общество Zav.* — *les parasites, les actrices, sa mauvaise réputation, il devient amoureux. Пелы... est son confident* [то есть, прихлебатели, актрисы, он приобретает дурную славу, влюбляется. Пелымов, его доверенный]<sup>1</sup>.

IV. *Enlèvement. P\* devient aux yeux du monde un mauvais sujet. C'est alors qu'il est en correspondance avec N. Il reçoit sa première lettre au sortir de chez la Istom. qu'il console du mariage de Zav.* [то есть, Похищение. Пелымов делается в глазах света пустым малым. В то самое время начинается его переписка с Н\* — Нат. К. прежних программ. Он получает первое ее письмо, выхода от Истоминой, которую утешает в женитьбе Zav.].

V. *La porte de Чок. lui est refusée, il ne la voit qu'au théâtre. Il apprend que son frère est secretaire de Чок.* [то есть, дом Чок. — Чуполея прежних программ — ему заперт. Он видит ее только в театре, узнает, что брат его состоит секретарем при Чоколее].

VI. *Vie splendide de Zav. Il donne des diners et des bals. Embarras domestiques. Créanciers, jeu* [то есть, роскошная жизнь Zav., дает обеды и балы. Домашние затруднения. Кредиторы, игра].

VII. *Норовой et son duel* [то есть, его дуэль].

VIII. *Scène chez le père* [то есть, сцена с отцом, упомянутая прежде, как и дуэль Норового].

IX. *Explication avec Zav.* [то есть, объяснение с Zav.].

X. *P. rompt avec Zav.* [то есть, Пелымов разрывает связи с Zav.].

NB: здесь после перерыва Пушкин опять возвращается к старому действующему лицу Ф. Ор. и продолжает программу, но с другою нумерацией:

I. *Continuation des amours de P.* [то есть, продолжение любовных похождений Пелымова].

II. *La femme de Z. Le mari devenu Ф. Ор. Ses nouveaux compagnons: leurs exploits. Ils arrêtent dans la rue P\* Ф. Ор. le reconnait et tourne la chose en plaisanterie* [то есть жена Зав.; муж делается Ф. Ор. Новые его товарищи; подвиги их. Они останавливают Пелымова на улице, Ор. узнает его и обращает все дело в шутку]<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В обеих главах некоторые черты из отношений Пелымова к Ф. Ор. переносятся на Zav., подтверждающая догадку, что автор колебался в окончательном выборе одного из них для романа.

<sup>2</sup> С боку этой главы написано рукой автора: «1e chapitre après la catastrophe» (поместить главу вслед за катастрофой). В начале ее есть какая-то путаница. По привычке Пушкин написал «Zav — brigand», зачеркнул, надписал «La femme de Z.

III. *Maladie, delaissement et mort du père de P\** [болезнь, одиночество и смерть Пельимова отца].

IV. *Situation du frère* [положение брата].

V. *Assassinat* [убийство].

VI. . . . . »

Собрав все программы пушкинского романа, сличив их и проследив по ним, на сколько было возможно, мысль Пушкина, мы имеем уже несколько оснований для приблизительного заключения о завязке и содержании, какие автор намеревался развивать в нем. Конечно, выводы наши никогда не получат характера полной достоверности, так как черты пушкинских программ могут быть, по усмотрению каждого, группированы в различные узоры и картины, но однако же в программах этих есть, так сказать, неподвижные, твердо поставленные факты и данные, которые позволяют уловить, как нам кажется, главную идею романа, по крайней мере в некоторых ее подробностях, почти без опасения ошибки.

На основании именно этих неизменных данных, кажется, позволительно придти к заключению, что дело в не написанном романе шло бы преимущественно о сыне пустого, расточительного и вскоре обнищавшего русского барина. Сын этот, «Пельимов» романа, лишившийся в малолетстве своей матери, встречается на пороге жизни с опекуной, которая поселяется в самом доме его отца, куда приводит за собою и мальчика неизвестного происхождения. Таинственный приемный, которого рекомендуют Пельимову под именем двоюродного братца, воспитывается вместе с ним. С первой же встречи они обнаруживают чувство неприязни друг к другу, уже предвещающее в них будущих заклятых врагов. Пельимова отправляют за границу и вскоре возвращают оттуда для определения на службу в гвардейский кавалерийский полк. Иначе складывается судьба двоюродного брата. Пельимов, сделавшись полноправным обладателем значительного имени своей матери, без расчета и осмотрительности предается при вступлении в свет всем соблазнам и наслаждениям его, завязывает путные и беспутные знакомства и увлечен ими на край пропасти, в уголовное преступление, на границе которого толь-

---

*Le mari devenu Or.*». Тут пропущено слово «ami» или другое синонимическое этому, и фраза должна читаться: «муж делается другом Or.». От смешения обоих имен героев в мысли автора у него иногда смешиваются их определения. Так, мы выпустили в предшествующей программе и в характеристике Or. неожиданное упоминание о З: «un élégant, un Zav.».

ко и останавливается. Спасенный посторонним вмешательством, он обнаруживает способность понимать нравственное убожество своей жизни, испытывать тоску и страдать совестью. Осторожнее и решительнее действует двоюродный брат. Он также на первых порах погружается в омут света, но оттолкнутый товарищами, скоро усмотревшими бедность и мелкоту его характера (великодушность и готовность отвечать за свои поступки были между ними обязательны), мгновенно повертывает в другую сторону. Он становится деловым человеком, служакой, бюрократом и вырабатывает из себя тип образцового молодого человека, *très comme il faut*, с блестящею будущностью впереди. Тогда и завязывается между ним и Пельмовым та жизненная дуэль, которая должна была составить перипетии романа и кончиться неизбежно поражением ветреного, беспечного, но внутренне благородного и честного кутилы. Двоюродный брат употребляет все усилия, чтобы очернить Пельмова в глазах света и правительства, способствует его заключению в тюрьму или крепость, наконец, перебивает у него невесту и женится на ней. По мысли Пушкина, эта домашняя история должна была развиваться в среде всего общества столицы, окруженная всем людом без исключения: актрисами, танцовками, литераторами, государственными лицами эпохи, салонами влиятельных мужей, такими же эксцентрического характера и теми, в которых золотая молодежь расточала достояние многих поколений своих предков; наконец, свидетельницами этой истории должны были сделаться и дома высшего светского круга, где Пельмов помещает между прочим и свою первую истинную любовь, не говоря уже о массе уличных героев, эпикурейцев низшего разряда, которые составили бы ее свиту. Рамка повести, судя по программам, захватывала целиком общественную летопись нашу в промежутки времени от 1818 по 1825 год. Пушкин не обошел при этом и возникновения нового явления на Руси без внимания: программы его упоминают о той части молодежи, которая, будучи окружена всеми изысканными удобствами культуры и развитой общечеловечности, жила строгою, почти аскетическою жизнью мыслителей и гнушалась забавами своих сверстников. Пушкин собрал некоторые имена представителей этого критического и оппозиционного кружка под особою рубрикой «общество умных». Было бы очень любопытно видеть, что осталось у него в уме и воображении от этих избранных личностей в 1835 году, и как он тогда судил о них. Да и не один столичный мир, со всеми его корифеями, входил бы в рамку повествования; Пушкин собирался еще оттенить мир этот картинами

деревенской помещицкой жизни, «крепостной любви», похождениям в глуши сел и деревень, которые не менее столицы давали простор разгулу и буйной фантазии и не менее ее вызывали слез и страданий. Все это вместе взятое составило бы, конечно, у Пушкина изображение нравственной физиономии русского общества во вторую, последнюю половину царствования Александра I и сделало бы из романа поэта социальный роман великого значения и достоинства.

Со всем тем остается еще один не разрешенный и довольно трудный вопрос: какую основную мысль проводил новый роман, какие качества дали герою его Пельмову право так сильно занимать воображение поэта в продолжение целых двух лет, какие цели поставлял себе автор, соображая постройку и расположение своего произведения? Нельзя же полагать, что он имел только в виду нарисовать картину нравов известного времени не прибавляя к ней от себя ни одного слова. Еще менее позволительно думать, что Пушкин ограничился бы простым изображением борьбы и соперничества между двумя пошловатыми родственниками. Некоторый ответ на эти вопросы дает нам вышеупомянутый роман Бульвера «Pelham, or the adventures» и проч. Конечно, не мелодраматический склад этого посредственного произведения английского писателя приковал к нему внимание Пушкина: оно написано с начала до конца во вкусе чудовищного французского романтизма тридцатых годов и исполнено невероятных запутанных приключений героя, всегда торжествующего над людьми и обстоятельствами. Но роман приобрел значительный успех в своем отечестве, а затем и на континенте Европы, благодаря тому, что ранее Диккенса дал несколько народных английских типов, хотя еще очень бледно изображенных, представил несколько портретов из руководящих кружков английской аристократии, хотя и не мастерски написанных, но без прикрас и искусственных поз, какими живописцы по ремеслу снабжали их, вообще благодаря попытке автора окружить реальными характерами нелепо придуманное и усиленно вздутое происшествие, о чем мы уже говорили. Известно, что основу романа составляет криминальное, разбойничье дело, которое дает автору случай ввести своего героя-обличителя в самые глухие трущобы Лондона, показать его в обществе завязтых уличных негодяев, выкинутых на свет, пьяными тавернами, посмотреть на него в среде всех страшных элементов английского пролетариата, а затем изобразить того же героя посреди блестящих политических салонов, под кровом богатых земельных

лордов и в сношениях с мелкими честолюбцами, рыскающими на подобие шакалов вокруг парламента в ожидании мест и добычи. Пельгам чувствует себя как дома промеж всего этого разнообразного люда: он — *свой* в мире джентльменов Альбиона и в мире его нищих. Но не этими чертами он привлек внимание Пушкина, а одною симпатическою чертой характера, которая сроднила его с мыслью поэта и окрепла в ней до того, что возбудила намерение противопоставить английскому Пельгаму русского человека с тою же самою психическою особенностью. Пельгам обнаруживает именно способность нисходить в глубокую тину порока, не мараясь сам, и возвращаться из нее нравственно чистым; он словно заговорен от прикосновения грязи к своему моральному существу, как некоторые сказочные богатыри наших легенд слыли заговоренными от прикосновения пули, и выходит из всех искушений и падений со свежим, нетронутым чувством, с простым и чистым сердцем. Эту черту героя, едва намеченную Бульвером, собирался, по нашему мнению, развить Пушкин далее и подробнее в русском его снимке. Правда, что тайна этой необычайной выдержки у английского оригинала заключается в том, что Пельгам имеет важную жизненную задачу, которой посвящает всего себя: он пробирается в общественные деятели; грубые и изящные пороки, постыдное или благородное выражение страсти одинаково служат ему, наделяя его опытом, делая его необходимым для всех, закаляя его характер и приготовляя из него в будущем *политическую силу*, уже всеми предчувствуемую заранее. У русского его близнеца не могло быть и помина о такой цели: он должен был опираться на одну свою благодатную природу, без всякой поддержки со стороны предвзятой идеи, хотя такая идея существовала у самого Пушкина. Задачи творчества и художественные цели доставляли ему не менее сильную нравственную опору, чем политические расчеты Пельгама, и вынесли его из водоворота света и житейских бурь вполне светлою, незапятнанною личностью. Но положение Пушкина было исключительное...

У лица, созданного Бульвером, была и еще черта, понимаемая вполне, может быть, тоже одним Пушкиным из всех его современников. Бульвер довольно поверхностно, вяло и вскользь упоминает, что Пельгам отличался еще упорным, усидчивым кабинетным трудом. Все урывки от времени, занятого исканиями, похождениями, удовольствиями света, английский Пельгам, по сказанию его летописца, посвящал учению по строго обдуманному плану, содержа в глубочайшей тайне от друзей и знакомых свои занятия и выставляя

перед ними на вид одно желание добиться славы непогрешимого дэнди. Покамест окружающие его думают, что он отдыхает после своих подвигов в салонах и вертепах мошенников, собираясь на новые, Пельгам, крепко запершись в кабинете, сидит за фолиантами, учеными трактатами и проч. Открытие его секрета было бы для него равносильно личному, нанесенному ему оскорблению. Он пуще всего на свете боится, чтобы кто-либо не заподозрил в нем серьезный склад ума, не открыл у него качеств солидного образования, и употребляет на утайку своих познаний и достоинств более хитрости и настойчивости, чем другой на прославление тех, которых не имеет. Пельгам готовится сразу, когда наступит надлежащая минута, удивить и подчинить себе самые непокорные умы. Конечно, мудро было Пушкину найти вокруг себя на Руси что-либо подобное этому английскому типу, — разве вздумалось бы ему поискать некоторые задатки его в себе самом; но в замен дальнее, ослабленное подобие его находилось, так сказать, под рукой у поэта. Более простое, более мягкое и даже более понятное отражение честно шумной, благородно странной, беспокойной жизни Пельгама представлялось в лице верного друга Пушкина, детски доброго, доверчивого и впечатлительного П.В. Нащокина, о котором уже упоминали. С него, по нашему мнению, и намеревался Пушкин взять главные, основные черты лица и фигуры «русского Пельгама». Действительно, по количеству необычайных похождений, по числу связей, знакомств всякого рода, по ряду неожиданных столкновений с людьми, катастроф и семейных переворотов, испытанных им, друг Пушкина, на сколько можно судить по преданиям и слухам о нем, очень близко подходит к типу «бывалого человека» Бульвера, уступая ему в стойкости характера, в дальности и в полноте внутреннего содержания. За то он еще лучше отвечал намерению Пушкина олицетворить идею о человеке нравственно, так сказать, из чистого золота, который не теряет ценности, куда бы ни попал, где бы ни очутился. Редкие умели так сберечь человеческое достоинство, прямоту души, благородство характера, чистую совесть и неизменную доброту сердца, как этот друг Пушкина в самых критических обстоятельствах жизни, на краю гибели, в омуте слепых страстей и увлечений и под ударами судьбы и несчастья, большею частью им самим и накликаемыми на себя. Пушкин высоко ценил нравственный характер друга и любил слушать его тихую, скромную речь, которая постоянно обнаруживала честность его природы и светлые инстинкты души, сохраненные им на зло людским изменам, предательствам и оскорблениям. На все это

есть много доказательств в переписке поэта. Наиболее существенное доказательство тех же самых положений оставил нам однако же автор «Переписки с друзьями», Н.В. Гоголь. Недавно опубликовано его письмо к П.В. Нащокину (см. «Русский Архив» 1878 г., № 1). Строгий моралист наш, требовавший христианских доблестей от каждого человека, Н.В. Гоголь не усомнился предложить Нащокину место воспитателя и руководителя детей в богатом петербургском доме негоцианта Д.Б. Бенардаки. Нет сомнения, что Н.В. Гоголь, коротко знавший мнения и суждения Пушкина о близких ему людях вообще и о Нащокине в особенности, действовал в этом случае под впечатлением слышанного им отзыва поэта о московском друге. Личные сношения и наблюдения еще подтвердили отзыв поэта и укрепили Н.В. Гоголя в мысли, что человек, подобно Нащокину, испытывавший бури жизни в такой степени, какая не часто встречается на тихих морях русского гражданского существования, и не потерявший при этом теплоты чувства и веры в человечество, исполнит роль педагога лучше всякого кабинетного ученого, побледневшего на теориях воспитания. Письмо Н.В. Гоголя подробно развивает тему, что опыт, вынесенный таким своеобразным педагогом из его сношений со светом, сам по себе составляет уже науку, и весьма важную при воспитании детей, которым предстоит та же дорога в свете, и которые могут поучаться на живом примере, как сберечь моральные основания в его шуме. Можно бы прибавить к этому, что подобному наглядному преподаванию своего рода не мешает даже и соображение, что опыт и понимание света оказались бесплодными для устройства жизни самого учителя.

Здесь кончаем заметки о приведенных нами программах Пушкина. Читатель, может быть, простит эту долгую остановку на плане не состоявшегося, не написанного еще романа, приняв в соображение, что она становилась необходимостью при желании проследить все литературные замыслы поэта перед концом его поприща, упразднившего их навсегда.

Эти же слова применяются и к плану большой фантастической драмы, оставленному Пушкиным, к которому теперь и переходим. Здесь поэт наш уже покидает область русского, реального, так сказать, творчества и переносится в другую, в область западных народных сказаний и представлений, где и прежде чувствовал себя совершенно полноправным гражданином. Натурализацию эту он купил инстинктивным художническим пониманием духа, умственного склада, психей тех иноземных племен, к которым обращался за мотивами

для своих произведений. Новая предполагаемая драма назначалась видимо умножить собою отдел драматических очерков и сцен, навеянных Пушкину жизнью и творчеством западной Европы. Известно, что на заимствованиях этого рода Пушкин созидал картины и образы глубокого содержания, ярко отражавшие, с одной стороны, нравственные особенности и культуру того народа, где происходит действие драмы, а с другой — обнаруживавшие в каждой такой специальной культуре элементы общего значения. По многим чертам программы можно заключать, что теми же родовыми признаками пушкинских заимствований отличалась бы и новая драма, не смотря на свой фантастический характер, каким и должна была окрашиваться одна из самых странных легенд Европы, легенда о папессе Иоанне. Выбор Пушкина имел однако ж в основании соображения реально-го характера. Но прежде чем подробнее говорить о причинах такого выбора, следует привести программу Пушкина, что и исполняем здесь. Она писана по-французски и уже подразделена поэтом на акты.

«Acte I.

«La papesse — fille d'un honnête artisan, étonné de son savoir. La mère vulgaire n'y voyant rien de bon. Gilbert (отец) invite un savant à venir voir sa fille — le prodige de famille. Préparatifs où la mère est seule à faire tout.

Jeanne devant saint Simon. Le savant (le démon du savoir) arrive au milieu de tout ce monde invité par Gilbert. Il ne parle qu'avec Jeanne et s'en va. Commérages des femmes — joie du père — soucies et orgueil de la fille. Elle fait tout pour aller en Angleterre étudier à l'université<sup>1</sup>.

Acte II.

Jeanne à l'université, sous le nom de Jean de Mayence. Elle se lie avec un jeune gentilhomme espagnol (amour, jalousie, duel — *en recit*). Jeanne soutient une thèse et est faite docteur.

---

<sup>1</sup> Акт I. Папесса — дочь честного ремесленника, изумленного ее познаниями. Пошловатая мать не ожидает ничего доброго из этого. Жильбер (то есть, отец папессы) приглашает ученого человека побеседовать с дочерью — чудом семьи. Приготовления. Мать одна только и работает за всех.

Жанна перед св. Симоном. Ученый (демон знания) является посреди множества людей, приглашенных Жильбером. Он говорит с одною Жанной и уходит. Пересуды женщин — заботы (NB: во французском тексте Пушкина видимо пропущены слова «de la mère») матери, гордость дочки. Последняя добивается, чтоб ее послали в Англию обучаться в университете.

Jeanne prier d'un couvent; règle austère qu'elle y établit. Les moines se plaignent.

Jeanne à Rome; cardinal. Le pape meurt; elle est faite pape<sup>1</sup>.

### Acte III.

Jeanne commence à s'ennuyer. Arrive l'ambassadeur d'Espagne — son condisciple. Leur reconnaissance. Elle le menace de l'inquisition et lui d'un éclat. Il pénètre jusqu'à elle. Elle devient, sa maîtresse. Elle accouche entre le Colisée et le couvent de... Le diable l'emporte<sup>2</sup>.

Вот какая страничка нашлась в тетрадах Пушкина. С первого раза можно подумать, что поэт хотел посвятить ее драматизированному шуточному рассказу во вкусе французских *fabliaux* или в кощунской манере Рабле, Боккаччио, Вольтера; но, пробежав далее несколько строк программы, убеждаешься, что тут развивается очень серьезная мысль. Пушкин имел в виду совсем не осмеяние или оскорбление великого западного института папства, под кровом которого Европа только и находила успокоение для своей мысли, а напротив, относится к нему, как к поруганной святыне в своей программе. Задача ее состоит в другом. В простом мещанском семействе, с тщеславным отцом и простоватою матерью, является чудо-ребенок в лице девушки Жанны, удивляющей народ пытливостью ума и наблюдения, ранними познаниями. Слой мещанского быта вообще беспрестанно выкидывали из себя на западе недовольные, критические умы, проверявшие основы гражданского и нравственного существования обществ. Старые, исторические порядки общежития боролись с ними тюрьмами и кострами, но те из реформаторов, которые успевали избежать их, переделывали мир. В чем же состояло призвание Жанны, не имевшей за собою ни великого подвига, ни плодотворной

<sup>1</sup> Акт II. Жанна в университете под именем Жана Майнцского. Она завязывает сношения с одним молодым дворянином испанцем (любовь), ревность, дуэль — все в рассказе). Жанна защищает диссертацию и провозглашена доктором.

Жанна — настоятельница монастыря. Строгий устав, который она водворяет там. Монахи ропшут.

Жанна в Риме — Жанна кардинал. Умирает папа; она провозглашена папой.

<sup>2</sup> Акт III. Жанна скучает. Является испанский посланник — прежний товарищ ее. Они узнают друг друга. Она грозит ему инквизицией; он грозит обличением. Он пробирается к ней; она становится его любовницей. Она разрешается от бремени между Колизеем и монастырем... Дьявол уносит его (то есть, уносит ребенка, как следует догадываться по смыслу).

идеи? Легенда о папессе, в основании которой, как уже сказано, не лежит ни малейшего исторического факта, видимо, обязана возникновением своим *народному* вопросу, жившему в массах, и который может быть выражен так: если люди с развратными и даже злодейскими наклонностями могут сделаться избранниками Божьими и занимать самое святое место на земле, не теряя, благодаря одному этому месту, ни власти над душами, ни авторитета над совестью народов, то не все ли равно, кто бы его ни занимал? С юмором, свойственным вообще народному творчеству, легенда возводит на это место женщину и не чувствует позора, делая из престола первосвященника ложе для ее страстей и падений, так как он прежде служил таким же точно ложем для людей другого пола. Собственно легенда не есть еще протест против самого папства, но она уже возвещает его. Так понял ее и Пушкин, и собирался обработать в этом смысле.

Любопытно следить по программе за чертами полуреального и полуфантастического характера, которыми поэт думал овладеть своею темой и выразить ее сказочное и вместе жизненное содержание. Чувствуется неволью, что волшебный и бытовой элементы приняли бы в его руках такое химическое соединение, что составили бы одно конкретное тело. Так, демон принимает у него образ святого пустычника св. Симона для утверждения в Жанне ее стремлений к славе и могуществу посредством *знания*. И слова ложного святого, хотя и не упомянутые в программе, ясно отзываются в энергическом домогательстве честолюбивой Жанны на скорый отъезд в университет. Внушения ложного святого или демона были не что иное, как голос ее собственных помыслов. После приключений в университете с испанцем Жанна, на подобие своей соименицы Жанны Орлеанской, налагает на себя обет вечного целомудрия, умерщвляет свое сердце, становится суровым приором монастыря и, под покровом наружной святости, облачается в кардинальский пурпур и, наконец, восходит на папскую кафедру. Все черты программы до такой степени просты, ясны, правдоподобны, не смотря на странность положений, что кажутся сокращенными указаниями в какой-то главе из достоверной истории, в роде, например, истории о восшествии на престол Сикста V. В третьем акте программы является уже чисто фантастический элемент, но в виде как бы естественного продолжения драматического действия и жизни, им перерываемой. Ко двору Жанны является посланником испанец, бывший ее товарищ по университету и знающий ее секрет. Она борется с ним отчаянно, пока простое, грубое насилие со стороны сластолюбивого и мало благочестивого

испанца не раскрывает ее слабую женскую природу. Жанна делается любовницей своего оскорбителя и рождает между двумя памятниками языческих и христианских воззрений, традиции которых в ней самой борются, между Колизеем и римским монастырем (Латеранским?), а диавол уносит этого ребенка, как свою законную добычу. Остается еще вопрос, о котором программа умалчивает совершенно. Зачем нужно было диаволу это чадо греха, и не сделал ли он из него лица, которое могло бы служить дополнением к драме, оставшейся покамест без вывода и заключения?

Читатель призван будет далее сам судить, какую степень вероятности и убедительности имеют наши доводы и предположения, на основании которых мы пришли к твердому убеждению, что из диавольского ребенка должно было образоваться лицо, пущенное Гете во всемирный оборот, именно — пресловутый Фауст, и притом не в качестве доктора философии и теологии, а в качестве предполагаемого изобретателя печатного станка. Драма Пушкина, кажется нам, не могла ограничиться тремя вышеприведенными актами, а должна была еще показать, переступая через пространство и время, в близком будущем, мстителя за оскорбление всех нравственных начал и народной совести. Мститель этот не мог иначе явиться, как в олицетворенном образе типографского искусства, которое, возвышаясь над частными протестами, упразднит самую средневековую науку целиком, потрясет народные верования, на ней основанные, и расшатает многовековой церковный престол, воспитавший и оберегавший их всех под своим кровом.

Программа драмы, которую занимаемся, сопровождается еще любопытною припиской, обращенною поэтом уже к самому себе. «Si c'est un drame», говорит приписка — «il rappellera trop le «Faust»; il vaut mieux en faire un poème dans le style de «Cristabel» ou bien en octaves»; то есть: если составить из этого драму, то она будет сильно напоминать Фауста; не лучше ли изложить дело в поэме и в стиле «Кристабеля» или написать октавами?<sup>1</sup> По-видимому, это заявление

<sup>1</sup> «Кристабель» («Christabel») есть название поэмы Кольриджа, английского поэта двадцатых годов, принадлежавшего к известной группе шотландских лэкистов. Она передается в отрывочном, фрагментарном виде и в ультраромантическом и распушенно-гениальном тоне разные, наиболее чудные сказания из средневекового мира, стилю которых и подражает. Она нравилась особенно изысканным вкусам любителей словесности, пресыщенных чтением поэм и романов, которые и называли произведение Кольриджа дьявольски-изящным и возмутительно-прекрасным; но оно также нашло и поклонника в лорде Байроне. Качества и форма «Кристабеля» обратили на себя и внимание Пушкина, когда понадобилось осуществить одну из самых фантастических легенд тех же средних веков.

самого автора программы должно бы устранить всякую догадку о возможной участи Фауста в будущей драме; но при ближайшем рассмотрении оно вместо того подкрепляет догадку. Могло ли явиться у поэта намерение положить возможно большее расстояние между гетевским произведением и своею темой, если бы при составлении программы образ средневекового легендарного героя, осуществленного немецким художником, не витал постоянно перед глазами Пушкина? Как бы родилось опасение слишком близко подойти к созданию Гете, имея в руках воспроизведение народного сказания, совершенно различного по духу, содержанию и целям с задачами немецкой драмы, и в котором Фауст ни разу не упомянут и не введен в среду действующих лиц, если бы не было потаенного присутствия того же героя в намерениях автора? Имя знаменитого сказочного доктора явилось в приписке Пушкина потому, что оно существовало в его мысли, а желание избежать неприятной с ним встречи — потому, что оно прежде входило в творческие расчеты поэта. Правда, пушкинский Фауст нисколько не походит на гетевского: это был собственный, домашний, так сказать, Фауст нашего поэта. Он отличается от своего первообраза тем, что у Пушкина является в последней формации, совсем не человеком, измученным своею мыслью и сознанием напрасно потраченной жизни на ее развитие, а просто гением открытий, изобретений, научного прогресса, который знаком был и средним векам, но еще более знаком нашему времени. О таком представлении Фауста здесь не место распространяться. Теперь мы представляем только объяснение вышеприведенной заметки Пушкина и, в подкрепление нашего о ней мнения, ссылаемся на другое произведение поэта, уже напечатанное и всем хорошо известное — «Сцены из рыцарских времен», где Фауст должен был явиться в дальнейшем не состоявшемся их продолжении с тем же выражением и в тех же функциях, какие автор хотел ему предоставить по своей собственной, оригинальной мысли и в драме, нас занимающей.

Не нужно, полагаем, напоминать русским читателям этих превосходных «Сцен». Для ясности последующего нашего изложения достаточно в немногих словах привести существенные их черты. У богатого ремесленника вырастает сын — менестрель, занятый веселою наукой стихотворства более, чем отцовским ремеслом, и мечтающий о привольном житье в рыцарских замках, о дамах и девицах, которые будут дарить его шарфами и увенчивать цветами. Отец выгоняет его из дома, передает все имущество своему подмастерью, но прежде еще благодетельствует из корыстных видов бедному ал-

химику Бертольду, который стоит на кануне открытия великого научного секрета и обещает разделить выгоды открытия с тем, кто последний даст ему средства докончить опыты. Между тем Франц пробирается в рыцарский замок в качестве конюшего к его обладателю и товарищу его по школе, рыцарю Альберту, в сестру которого страстно влюбляется. Униженный и оскорбленный ими, как непокорный и зазнавшийся слуга, он покидает замок, становится во главе сельского народного восстания и объявляет войну владельцам, баронам и феодалам. Шайка Франца скоро рассеяна рыцарями, и его самого везут в знакомый замок на виселицу. На кануне казни пирующие господа заставляют менестреля потешать их в последний раз своими песнями, но гордая Клотильда, дама сердца бедного поэта, умилненная его бесстрашием и его поэзией, выпрашивает ему прощение. Приговор к виселице заменен приговором к пожизненному заключению в башне замка. Здесь и кончаются «Сцены».

Прежде всего тут бросается в глаза близкое, как бы родственное сходство между программой о папессе и этими «Сценами» в главных, основных их мотивах. Как там, так и здесь, городское мещанское сословие порождает две беспокойные, честолюбивые личности, разрывающие все связи с родным кровом и окружающей их обстановкой и смело бросающиеся в безграничное море жизни, с надеждой завоевать себе новое положение. Но одна из этих личностей — женщина, выбирающая орудием для удовлетворения своих тщеславных замыслов науку и знание; другая личность — поэт, доверяющий силе своего творческого таланта для достижения всех тайных желаний своих. Обе личности эти, едва-едва намеченные поэтом, чрезвычайно ярко выражают однако ж различие своих характеров в выборе путей и средств, которыми думают освободиться из своего приниженного сословного состояния, но не смотря на то, в них чувствуется присутствие одного и того же психического двигателя, слышится общность душевных настроений. Искони веков знание и поэзия опрокидывали перегородки, устроенные бедною политической мыслью для того, чтобы удержать каждого человека на раз определенном ему по рождению и происхождению месту. Избранники, отмеченные печатью знания или поэзии, не однажды свободно проходили через заставы, положенные кодексами и законодательствами с целью затруднить дорогу пылким и непокорным умам в жизни. У папессы и у менестреля вековая привилегия равнять людей, присущая науке и гению, породила убеждение в их праве занимать любое место на свете и находить границы своим вожделениям и посяга-

тельствам только в самих себе, а не в посторонних помехах и соображениях... Сходство нравственных положений обоих нововводителей, Жанны и Франца, увеличивается тем обстоятельством, что и она, и он одинаково имеют друга детства, школьного товарища, предназначенных служить орудием их гибели. И сластолюбивый вольнодумный испанец, и пустой горделивый рыцарь Альберт намечены, как в программе, так и в сценах, одним, так сказать, карандашом, по одному и тому же шаблону. Они призваны изображать тот эгоизм привилегированных сословий, который овладевает людьми с самых ранних лет и превращает их, тотчас за порогом школы, в оберегателей выгодного им порядка дел. Задачей их становится преследование тех гениальных проходимцев которые врываются силой в их сомкнутые ряды и нарушают вообще спокойное течение обычной заведенной жизни. Самые физиономии Жанны и Франца, не смотря на упомянутую уже разницу в жизненных целях, усвоенных обоими героями, и на разность их пола, поражают еще у Пушкина разительным сходством своим по отношению к сущности их природы. Бледные очерки этих фигур, данные поэтом, на столько однако же ясны, что позволяют распознать их выражение и мысль, в них заключенную. Сосредоточенная в себе, аскетически-мужественная Жанна погибает не на костре, как ее соименица Орлеанская, а в объятиях любовника; женственный менестрель Франц становится народным вождем, представителем поруганных прав человечества и в этом качестве осужден на гибель. Обоих сбивает с их путей и уничтожает в корне все их цели и замыслы общая им слабость — любовь. Это одно и то же лицо в двух видах, это — близнецы, сестра и брат, порожденные цельною мыслью, к которой поэт наш подходит только, в двух своих пробах, с противоположных сторон, не нарушая ее единства, бросающегося в глаза при внимательном ее осмотре.

Кроме всего сказанного, у нас есть еще и документ, осязательно, так сказать, свидетельствующий о родстве обоих драматических проектов. Мы видели, что «Сцены из рыцарских времен» кончаются пожизненным заключением Франца в башне феодального замка, но в мысли Пушкина «Сцены» имели еще продолжение, как оказывается из маленькой программы, которая до них касается. Этот небольшой и очень любопытный отрывок Пушкина гласит следующее:

«Un riche marchand de draps. Son fils — poète — amoureux d'une jeune demoiselle noble. Il fuit et se fait écuyer dans le château du père (de la demoiselle) — vieux chevalier. La jeune demoiselle le

dédaigne. Le frère arrive avec un prétendant. Humiliation du jeune homme. Il est chassé par le frère, à la prière de la demoiselle.

Il arrive chez le drapier. Colère et sermon du vieux bourgeois. Arrive frère Berthold. Le drapier le sermonne aussi. On saisit frère Berthold et on l'enferme en prison.

Berthold en prison s'occupe d'alchimie. Il découvre la poudre. Revolte des paysans fomentée par le jeune poète. Siège du château. Berthold le fait sauter. Le chevalier — la médiocrité personnifiée — est tué d'une balle. La pièce finit par des réflexions et par l'arrivée de Faust sur la queue du diable (découverte de l'imprimerie — autre artillerie)<sup>1</sup>.

Итак, вот какое содержание предназначено было этим «Сценам» по первоначальной программе Пушкина, хотя сами они еще составляют только «План», как были и озаглавлены, и притом, по нашему мнению, далеко не разработанный им вполне и не окончательный. Перемены, введенные поэтом против старой темы в свой новый «План», легко перечисляются: пропал старый рыцарь, владелец замка; о заключении Франца в башню нет и помина, а вместо него попадает в заключение алхимик Бертольд. Для дальнейшего развития плана, если такое имелось в виду у поэта, следует предполагать, что Франц освобожден из башни, может быть, и Клотильдой, побежденную его даром песен; что он снова воздвигает народное восстание против феодалов и теперь находит уже подле себя страшного, могущественного пособника в лице брата Бертольда, который сдержал обещание поделиться результатами своего открытия с семейством поэта. Но оставляя в стороне всякого рода предположения, мы приходим уже к одному достоверному заключению. Последнее слово обеих программ, как о папессе Жанне, так и о менестреле

---

<sup>1</sup> В переводе: «Богатый торговец сукнами. Сын его — поэт — влюбляется в молодую благородную девицу. Он бежит из дома и определяется конюшим в замок отца девицы, старого рыцаря. Молодая особа пренебрегает им. Является брат ее с женихом. Унижение молодого человека. Брат выгоняет его из замка по просьбе сестры.

Возвращение к торговцу. Гнев и выговоры старого буржуа. Появляется брат Бертольд — он и его бранит. Брата Бертольда схватывают и засаживают его в тюрьму.

Бертольд в тюрьме. Он занимается алхимией и открывает порох. Возмущение крестьян, поднятых юным поэтом. Осада замка. Бертольд взрывает его на воздух. Рыцарь — олицетворенная посредственность — убит пулей. Пьеса заканчивается размышлениями и прибытием Фауста на хвосте дьявола (открытие книгопечатания — этой артиллерии своего рода).

Франце, основная мысль, их породившая, заключалась в легендарном, символическом изображении двух великих изобретений, заключивших эру средних веков и открывших «новую историю» — пороха и книгопечатания, мифического алхимика-монаха Бертольда и мифического доктора Фауста. Они встречаются на развалинах феодального замка испытавшего на себе первое приложение новой силы, и владелец которого убит первой пулей, выпущенною на свет Божий. Фауст принесен на торжество науки, терпения и пытливого человеческого ума дьяволом, который, по нашей догадке, как видели, подобрал его младенцем в Риме. Пушкин вспомнил об этом ребенке, покинутом им в конце одной программы, и перенес его в конец другой, на что уполномочивал его и общий характер их духа и содержания. Обе драмы последними заключительными сценами своими дают разуметь, что, по мысли автора, они должны были составлять двухчленную хронику, развивающую одну и ту же тему — разрушение старого мира изжившего вполне все свое содержание, налагающего руки на признанные свои святыни (первая часть хроники), оскорбляющего человечество надменностью и безнаказанностью своей пустоты и своего разврата (вторая часть хроники). И Бертольд с губительною зернью, и Фауст с типографским станком были тут на месте. Новое поколение, способствующее падению и гибели старого мира, все-таки вскормлено было тем же самым миром, а потому и носит на себе еще следы его немощей, которые составляют, не смотря на всю отвагу и решимость поколения, его бессилие в борьбе с жизнью. Измена своему призванию и слабости святотатственной Жанны, пустые увлечения и мечты Франца остались им по наследству от прошлого. Программы Пушкина показывают, что только два лица не принимают никакого участия в развитии драм, свободны от страстей и волнений людей, в них действующих, и как бы приберегают себя для довершения процесса разложения, начатого другими. Это — два великих исследователя, которые и призваны окончательно уразднить как дерзких, но несостоятельных борцов, так и предмет их ненависти и столкновений, строй общества. Они только и могут обновить мир, потому что стояли вне его и выше его; мысль поэта довольно ясна и нисколько не затемняется вмешательством дьявола или нечистой силы, которые тут имеют совершенно невинный, инсказательный смысл. Мы совершенно свободно допускаем гипотезу, что в намерении поэта было показать и монаха Бертольда, и греховное дитя Фауста одинаково воспитанниками дьявола или демона мысли и науки, и притом одинаково выращенными в суровом уеди-

нении. Оба они встречаются как старые друзья, ведь люди одного и того же закала, и демон, поставивший их лицом к лицу, как должно полагать, в равной степени коротко и хорошо знакомы еще с детства.

Какие бы возражения и замечания ни вызвали в последствии наши догадки и выводы (а отвлеченные соображения, основанные на духе произведения, а не на фактах, всегда их вызывают), но можно надеяться, что одно из наших положений встречено будет уже общим согласием. Никто, полагаем, из ознакомившихся с содержанием пушкинских программ, здесь приведенных, не усомнится признать, что в них заключен богатый материал для какого-то капитального произведения, задуманного поэтом. Обширные пространства для мысли и воображения открываются при одном разборе этих отрывочных слов, этих очерков, едва захватывающих края образов и представлений; предчувствие чего-то могущественного и поражающего сопровождает читателя, когда сквозь сетку недописанных фраз мерцает перед его глазами легендарный и бытовой средневековый мир, символические и реальные элементы сказания в удивительном, как бы натуральном соединении. Что бы вышло из всего этого? Как ни празден вопрос по своему существу, он невольно зарождается в уме при всяком соприкосновении с планами и намеченными идеями Пушкина.

Не выходя из области драматических опытов Пушкина, подобный же вопрос возникает и в виду того всем известного реестра драм, им написанных и только задуманных, который он сам составил. В реестре этом встречаются заглавия пьес, навсегда, кажется, пропавших для нашей публики. Таковы заглавия, возвещающие несуществующие пьесы: «Ромул и Рем», «Берольд Савойский», «Влюбленный бес», «Димитрий и Марина», «Курбский». От замыслов поэта, которые скрывались под ними, не осталось в тетрадях его ни одного клочка бумажки, ни одного листика, которые способны были бы бросить какой-либо свет на сущность и содержание этих будущих произведений его гения. К немногим из заглавий можно еще подойти с некоторым, правдоподобным изъяснением. Так, сцены: «Димитрий и Марина», «Курбский» позволительно признавать начальными очерками тех сцен, которые введены были потом автором в хронику «Борис Годунов»; так, еще загадочный «Берольд Савойский», на историю и происхождение которого потрачено было много гипотез, еще поддается заключению, что это не кто другой как монах-алхимик Бертольд, нам уже знакомый; но затем остальные драматические очерки, упоминаемые в реестре и не получившие обра-

ботки и осуществления при жизни поэта, осуждены навсегда представлять из себя вид молчаливых сфинксов, не отвечающих ни на какие расспросы. Еще одно слово. Знаменитый перечень пушкинских драм, о котором говорим, явился в печати нашей не совсем в полном виде. «Материалы для биографии Пушкина», 1855 года, впервые его опубликовавшие устранили из него два заглавия, которые необходимо привести теперь для того, чтобы дать полное понятие о разнообразии и характере литературных проектов Пушкина. Одно из этих устраненных заглавий носило имя «Иисус», другое после него — «Павел I». Не вдаваясь ни в какие рискованные заключения по поводу этих имен и соединенных с ними литературных проектов, заключаем статью повторением общего мнения русской публики, не раз ею выраженного: пуля, которая унесла Пушкина на тридцать-восьмом году его жизни, убила многое из того, что пережило бы, может быть, несколько поколений, а может быть, и целые исторические периоды.

1881 год.